

Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/sib/2010/9/ne10.html>.

## КАЗАКИ И ПИГМЕИ

### Артельщики

На подаренной мне Геннадием Дмитриевичем, царство ему небесное и светлая память, книжечке “По реке плывёт бревно” стоит дата: 7.06.97.

Счастливым день в моей жизни, и правда, — счастливый день!

Накануне с дружкой Олегом Харламовым договорились, что в семь утра рабочий автобус из Новокузнецка подберёт меня в посёлке на остановке “Берёзка”, это совсем неподалёку от гостиницы “Сибирь”, где я жил. Смену целиком, как во времена молодости, собирался провести в бригаде у горновых на первой печке.

У Олега своя бригада, но одна из трёх домен была на ремонте, ребят пока разбросали по разным сменам, и он наверняка разочек-другой вздохнул: один табачок, если бы я потёрся среди “родных” ему хлопцев, и совсем иной — в чужой всё-таки бригаде, где он сам как бы на подхвате... но недаром он говорил, что для него главное — *артель*! Потому-то и моё одинокое дело считал как бы и своим тоже. Как землячки мои на Кубани говорят: так дак так. Если надо.

Шестого, выходит, июня вечером возвращался, уже не помню откуда, в гостиничку и через дорогу от неё, возле Дворца культуры Запсиба, увидел яркий щит: “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”

Хорошо, что увидел, думаю, вот повезло-то: ни по телевизору не заметил рекламы, ни *так* ни с кем разговора не было — мог бы и пропустить такой случай, ничего себе!

Как предчувствовал...

Подошёл поближе: начало в девятнадцать, а смена у горновых до четырёх плюс потом “разбор полётов” на пересменке, плюс душевая, плюс дорога от доменного цеха и до посёлка — всё равно успеваю!

Ну, какой была эта смена с горновыми на первой печке — любимой, естественно, три с половиной десятка лет назад сам в неё дровишки для растопки затаскивал! — я уже не раз успел написать: сперва в очерке “Взывание о помощи”, позже в другом — “Жар-птица”. Но тут, пожалуй, не тот случай, когда выговорился, и — отболело... Болит!

Не выговорился?

Да и обо всём об этом — возможно ли?

Выговориться.

Как пошучивать привык: бумаги не хватит!

Теперь к этому ко всему прибавилось и ещё одно: крепко-накрепко связанное с тем днём у горновых размышление о том, чем всю жизнь занимался Заволокин... чем многие из нас, благодарение богу, продолжают заниматься и нынче.

На память о том времени остался у меня крошечный, чуть поуже спичечной коробки, зеленый талончик, на одной стороне которого напечатано типографским способом: “ЗАПСИБ. Талон. 1997 г.” На обороте — от руки: “Наши “зелёные”, Леонтьич. Тебе на память. А. Чистилин”.

Толя Чистилин — доменный мастер, который всю смену напролёт, как посмеивались ребята, “тёр писателю ухо”. Чего он только, и правда что, тогда мне не нарасказывал!

— А этот уже слышал, Леонтьич? — принимался за очередной анекдот. — Как два директора между собой: ты сколько своим зарплату не даёшь? Два года уже. И я — два года. А на работу выходят? Выходят. А давай с них плату за вход начнём брать?

Но “голимая правда” была ещё анекдотичней. И куда горше.

Сырьё перестало поступать окончательно, тянули на том, что наскребли по сусекам. Печка штука такая, что ни на “перекур с дремотой” — как было раньше при безразмерных запасах на рудном дворе (“Ты что это, к столетней войне приготовился?!” — выговаривал начальнику отдела сырья и топлива “железный Дед”, Леонид Сергеевич Климасенко, первый директор Запсиба) — ни теперь на побирушество, её так просто не остановишь, печку.

— Только “русская смекалка” теперь и выручает, — нарочито горделивым тоном сообщал Чистилин. — Слышал небось, что шлаковый отвал Фельдман в аренду взял? Покупаем у него теперь втридорога шлак и засыпаем в печку обратно — лишь бы не остыла, лишь бы кое-как без “козла” продержаться!

С Володей Фельдманом, тогда он был немец, мы, начиная с шестьдесят первого, ещё на улице Мира в нашем поселке, два или три года жили в одном подъезде, и — то у него дома, а то у меня — в общей сложности просидели за столом столько, что в результате этого затянувшегося на десятилетия застолья, он опоздал на самолёт, когда то же самое весьма увлекательное занятие мы продолжили через два десятка лет уже в моей квартире в Москве, на нашей Бутырской.

В самом начале перестройки, когда сознание многих было разбужено, у Володи тоже проснулась память предков, он вспомнил, наконец, что всё-таки он — еврей. Веры, русской, однако не поменял, Вера стала туда и сюда мотаться к детям в Израиль, привозить внуков в Новокузнецк — на дикий чеснок, на черемшу, на знаменитую нашу таёжную колбу, в которой витаминов (экспертиза космонавта Леонова Алексея Архиповича, земляка) в восемьсот раз больше, нежели в привозных лимонах.

— Всё понял, Семёныч, когда тебя увидал, — понял! — заорал я благим матом, заблажил, обнимая Володю в Новокузнецке. — Я на своём Бутырском рынке покупаю весной чеснок израильский: ну, что это, думаю, за дерьмо, тем более изрядно примятое — набивают, видно, в ящики под завязку... А это, оказывается, привет от моего друга с Запсиба!

— Как сообразил? — прямо-таки лучился Володя.

— Проще некуда! — объясняю. — Поди, не только Вера привезла внуков на колбишку — все наши бывшие “морозоустойчивые сибиряки” кинулись на сезон обратно в Горную Шорию. Вот там, в Израиле, излишек чеснока и образовался, не так, что ли?

— Учить вас, русаков, надо! — смеялся Володя.

И так ли уж он неправ?

В этот мой приезд тоже успели парой слов перекинуться.

— Ну, Семёныч! — говорю. — Ну, старый хитрован! Рассказывали ребята, как поймал тут жидовский свой фарт: шлак теперь доменщикам продаёшь в три раза дороже, чем брал у них!

— А что прикажешь делать, — шурился он, явно довольный. — Если государство у нас такое дурное, то что бедному еврею остаётся, ну — что?!

И ведь опять прав!

Володе, и действительно, подфартило. Но многим-многим другим... Да что там, эх — тысячам!

С Олегом Харламовым познакомились на Азовском море, в те благословенные времена, когда у Запсиба ещё не отобрали за долги стоящий почти на краю бережка уютный пансионат “Рыбацкий стан”...

Валялись рядом на песочке: он с Любой, своею красавицей, и с детишками — Алешей и Костей, и мы с женой и внуком Гаврилой. День-два, ребята вместе играют, начались общие заботы, пошёл разговор, сразу — добросердечный, и говорю ему полушутливо, а больше всерьёз: “Эх, как бы смотрелся на этой широкой пролетарской груди маленький крестик!”

— У меня большой был! — живо откликнулся Олег. И кивнул на жену. — На день рождения поднесла. Серебряный. А потом как-то печка не пошла, пришлось долго у лётки гнутья, он, видать, вывалился, на цепочке долго висел, да так сильно над канавкой раскалился, что когда потом приподнялся, откинул голову, и он снова упал на грудь, я так заорал, что ребята кинулись: что с тобой, старший? Не глаза?!

— Папа у нас — медведь, — заговорила Люба, жена Олега, с застарелой, это сразу слышать было, горькой иронией. — С лопатой у нас никак не расстанется... жить без неё не может!

“Медведями” на заводе зовут горновых: ломают самую тяжёлую, самую черную, самую опасную, огненную работу.

— Сколько раз уже говорил, — сказал Олег как бы даже с ноткой вины. — Ну, такой я: привык, чтобы рядом — мужики, а не нахлебаи какие-нибудь... работяги, а не волынщики: ну, артельщик я по натуре, артельщик!

“Артельщики” теперь больше других и мучились... но сами — ладно бы. Мучили безденежьем свои семьи.

У Харламовых как раз случилась беда: с менингитом попал в больницу старший, Костя. По новым правилам на лечение нужны были деньги, и действительно, сумасшедшие — неожиданно для Олега и Любы их собрали родители лежавших вместе с Костей детишек: видели, как страдают, как бьются отец и мать мальчишки.

Тоже вот, подумать: разве не артель спасла тогда сына бригадира доменщиков Харламова?

Кое-что подкинул, правда, и старый друг Эдик Хомутов, бывший горновой, с головой ушедший в коммерцию... богач теперь Эдик, настоящий богач: и квартиру шикарную купил, и крутой джип, и несколько “комков” приобрёл, в которые посадил надёжных девчат.

Талант открылся? Тоже ли поймал фарт?

Единственное, что его угнетало — скучал по бригаде. Пропуск свой на завод не сдал, поменял на новый, а на лобовое стекло ещё прилепил бумажку, с которой можно въехать на территорию через любые ворота. И вот поставит свой джип прямо под лестницей, обхватит две тяжелых картонных коробки — с выпивкой да закуской — и топает в “кандейку” наверх: душу со старыми дружками отвести. И всё бы ничего, но вздохнёт вдруг: а что, мол, братцы, если брошу я это, “купи-продай”, да опять с вами — к нашей печурке?

Чистилин-то, известное дело, шутник, но тут клялся, что сам лично поперхнулся и чуть не полстакана “дорогой виски” на пол выпрыснул, когда впервые об этом желании Эдика услышал. И только потом закричал:

— Трудностей испугался?.. Да ты что? Чему тебя на домне учили?!

Ну, к Эдику нам ещё придётся вернуться, к Хомутову: загадочна, и в самом деле, русская душа — загадочна!

А пока мы с Олегом стояли в буфете столовой, где только что отобедали, где он чуть не до слёз меня довёл: мол, спрячьте, Леонтьич, кошелек, вы — в гостях... Спрячьте, не то обижусь... ну, как тут быть, господи?!

Пришлось спрятать, и он расплатился за два наших обеда своими “зелёными” — ну, кто, и правда что, догадался в таком прямо-таки вызывающем по нынешним временам цвете нищенские эти талоны отпечатать!

Рассчитывались ими только на территории завода, сразу за проходной от них уже воротили нос, и Олег стоял теперь в буфете, тоскливо глядя на “ассортимент”, в котором гнилые бананы соседствовали с давно запузырившимся кефиром... хватит, мол, вам и этого! “Медведям”, делающим самую тяжкую работу.

А вечером ему надо было идти в больницу к Алешке. И передачу они с Любой собирали теперь не только для него — для всех в просторной палате... вообще-то, рассказывала нам с женой Люба, когда мы были в гостях у Харламовых несколько лет спустя, с этого-то их везенье в детской больнице и началось: впервые придя туда, её “медведь” сразу же оделил всех до одного ребятишек, и правилу этому не изменял потом, чего бы это ему не стоило...

После очередного выпуска “условно говоря, чугуна” — словарь Чистилина — в кандейке, где все было щедро усыпано графитом, пили заваренный бледной соломкой, но зато с селёдочкой — оторвал от сердца тоже Чистилин — чаёк, и тут мастер, откровенно критическим взглядом окинув мои лёгкие туфельки, спросил дружески:

— Горят пятки?.. Напёк ноги?

— Само собой, — сказал я.

Голос его прямо-таки набирал дружеской заботливости:

— До конца смены ещё вон сколько! Может, тебе, Леонтьич, — поближе к воде?

Конечно, я поймался:

— На Томь, что ли?

— Да нет, — тут же “подсёк” Чистилин. — Давай подойдём к водопроводчику: он у нас стихи пишет. Пусть тебе почитает, а ты ему скажешь...

Слесарь-водопроводчик Александр Бруневич, по первой профессии агроном, родился и жил в знаменитом шукшинском селе, в Сростках, и на Запсиб приехал затем, чтобы не только слегка подзаработать, но хоть маленько сократить время до пенсии, к которой он стремился со всей страстью садовода-любителя, вырастившего первые собственные сорта: уж на “заслуженном-то отдыхе” он без оглядки на семью отдастся полностью своим “мичуринским” опытам!

Но тут-то жизнь и тормознула новоиспеченного металлурга. Единственное, в чём он не ошибся — добываемый возле печки “рабочий стаж” был, и действительно, горячим: горячей некуда!

Мы стояли не в самом пекле, а чуть сбочка от огня и дыма, но всё равно тут и дышать было нечем, и ничего толком не слышать, а я уже с первых, робко произнесённых строчек понял: слушать водопроводчика стоит!

Того же Чистилина попросили подстраховать нас, ушли в бытовочку, где я расчехлил свой крошечный, с микрокассетами, магнитофон... Кое-что Александр переписал для меня дома на бумагу, строчки из его стихов напечатали потом и “Рабочая трибуна”, и “Труд”, а сам я где только шукшинского земляка после не цитировал. Здесь можно бы привести стихи сокровенные, лирические, которые в художественном отношении совершенней, но мы с вами, как понимаете, не о том: скольким из нас приходится нынче жертвовать красотами стиля ради той самой “солдатской прямоты”, о которой, к стыду, наши доблестные генералы давно и накрепко позабыли...

Сохранились у меня и кассеты, и стихи на бумаге, но вот — достаю из памяти. Пропустим — для краткости речи — и о “Меченом”, и о “беспалом пахане” в Кремле. То, что нам пригодится — в общих с Сашей Бруневичем рассуждениях — дальше, вот оно: “В Москве крупняк собрался у кормушки — который год пластаются в верхушке. И на местах, с подачи Рыжего, на дармовое прут бесстыжие: всем отстегнули — теще, сыну, брату. Но мы молчим — решили взять зарплату. Так замордованный, обманутый народ вновь оказался под пятою у господ!”

Когда Бруневич прочитал что-то частушечное, я спросил: а что, может, и на гармошке играете?.. А как же, ответил он радостно: гармонист! А знает ли гармонист, что во Дворце культуры сегодня — Заволокин?.. — Да вы что, не шутите? Вот бы попасть!

Да почему же — нет?

Без четверти семь, уже при параде, со следами расчёски на ещё непросохшей шевелюре, он появился у Дворца, и вслед за торопливо идущими, а то чуть ли не бегом поспешающими на концерт земляками мы тоже бросились в фойе, тут же кинулись было в зал, занять местечко, и вдруг нас обоих что-то остановило: отошли в сторонку и замерли.

Что-то необычное было в этом людском потоке, в котором на ходу перекликались, друг с дружкой здоровались, поторапливали малых детишек, а то и подхватывали, явно ради скорости, на руки...

Вдруг я понял: *счастливые лица!*

На них прямо-таки ясно читалось не только ожидание предстоящей радости, но что-то ещё более глубинное, потаённое, как бы выраввавшееся вдруг из души — у всех разом...

Как бывает в редчайшие минуты, когда тебе не в досужих рассуждениях, а так вот, при мгновенном озарении, не только сердцем, но каждой клеточкой твоей вдруг становится до прилива счастливой боли понятно, что нет прошлого в отдельности и нет в отдельности настоящего, что вот оно в тебе — всё вместе, всегда, всё твое и всё общее: не с теми, кто есть сегодня, а со всеми, кто был когда-то с тобой, и был до тебя, и после нас будет...

Из всего этого, спрессованного годами, но мгновенно развёрнутого теперь сознанием в одну общую картину, высветился вдруг казавшийся до того таким далёким январь сорок третьего, когда нас освободили от оккупации: с кружкой водицы в руке и с полупустым ведром стоишь обочь дороги, озябший от счастья, а мимо тяжёлой развалкой идут красноармейцы с усталыми улыбками на заросших лицах.

— Выпейте нашей водички, дядечка!.. Ну, выпейте!

И он останавливается на миг, нагибается, колет тебе щёку и до этого уже мокрой щетиной:

— Ну, спасибо тебе, богатырь, спасибо!

— Выпейте и вы, дядечка!

Невысокую горку кукурузных чуреков в неглубокой тарелке они разобрали сразу, больше нечем было встречать — у всех у нас осталась только вода в ведре.

— И вы, дядь... А вы?

Больше нечем было встречать — они, наверное, в тот день опились.

А у меня навсегда осталось в памяти это, ни с чем несравнимое: *наши, наши пришли!*

Не исключаяю: я, когда стояли с Бруневичем в фойе, впал в эйфорию — с людьми моей профессии это бывает.

Он тоже во все глаза смотрел на лица торопящихся в зал людей и счастливо улыбался: что с него возьмёшь — тоже, выходит, свой брат, недаром ведь сочиняет стихи.

Но мне, и правда, казалось, что в этот вечер во Дворце собрались чуть ли не все мои старые знакомые: и те, кому довелось пожить в палатках, и кто потом приехал с

демобилизованными солдатами, и кто — значительно позже... Тут ведь ещё какое дело: видишь сына старого своего доброго знакомого, видишь чью-то взрослую дочь и, ещё не разгадав, в чём секрет, невольно тянешься к ним взглядом, словно к вернувшимся из молодости твоим товарищам, а они, знающие о тебе и не один раз тебя, может, видевшие, само собою отвечают такой сердечной улыбкой, за которую в жёсткое наше время столько можно отдать, несмотря ни на что — столько отдать!

Мимо пронеслась было, но тут же вернулась симпатичная, средних лет женщина с букетом цветов явно не магазинно-палаточного, а своего — садово-огородного происхождения.

— Давно вы у нас? — спросила, ну, прямо-таки обдав меня сиянием в глазах.

— Да уж недели две...

— Возьмите, пожалуйста, — это вам!

— Э, нет! Вы ведь это для Заволокина приготовили...

— Ну, и что ж. Вас мы тоже давно не видели... тоже любим. Возьмите!

— Я-то ведь вроде свой, а он — гость...

Она улыбалась щедро и радостно:

— В том и дело: свой. Вы, конечно, не помните, а мы с вашей женой в одной бригаде начинали... Лариса её, ведь правильно?

— Да милая вы моя, ну спасибо — я потом скажу ей, я передам. Но цветы вы всё-таки... на них ведь как бы адрес уже написан: Геннадию Заволокину...

— Ну, прошу вас!

И тут мне приходит, верная, как мне кажется, мысль:

— А давайте-ка вот что: я тут две книжки для него приготовил — мы с Геннадием Дмитричем знакомы. Надписал уже — всё честь по чести. Хотел сам, но, может, и действительно, вас попросить? Цветы отдадите и скажете: а это, мол, вам просил передать наш писатель! И будет как бы наш общий подарок, а?

Протянул ей “Голубиную связь” и “Я — не Гавриил Попов”. Она мгновенье помедлила и решилась:

— Так и скажу: это — от меня. Цветы. От всех, кто любит вас, а это...

— Ну, и прекрасно, спасибо вам!

Только успел уговорить её отправиться в зал и с моими книжками, и с цветами, как тут собственной персоною — именинник... или какое там? Весь в мыле — как будто тоже смену отстоял на литейке...

— Задержались в крепости вашей, в Старокузнецке, — говорил на ходу кому-то из встречавших. — Там запись была, много людей, пришлось через толпу прорываться...

До того ли ему?

Всё-таки я поднял ладонь, громко окликнул.

— Вы-то как здесь? — удивился он, подавшись навстречу. — Вы ведь, кажется, московский писатель?

— Житель! — говорил я радостно. — Житель — московский, да. А писатель — нет. Писатель как раз — новокузнецкий!

— На концерте будете?

— А зачем же пришёл сюда... вот, с другом-гармонистом!

Он пожал руку Саше:

— Рад коллегу приветствовать, но вы уж меня простите — надо бежать...

Побежали и мы: искать себе места.

Куда там!

Никогда я не видел зал Дворца таким переполненным.

Как раньше в родной моей станице старые-то люди говаривали: ми-и-и-ру-у!

Бывало в ней, правда, и такое, что районная газетка “Советское казачество” писала обычно о первомайской демонстрации либо о ноябрьском празднике: на станичной, мол, площади “состоялся многомиллионный митинг трудящихся”. Писала до тех пор, пока мы с одноклассником Жорой Черчесовым, осетином, закадычным дружкой — светлая тебе память, Жорик, светлая память, Георгий Ефимович, — имя-отчество больше подходит для тех, кто похоронен в твоём Владикавказе на почётной Аллее Славы, — так вот, пока мы, заявившись в родную станицу уже практикантами факультета журналистики не подняли, наконец, шум: да что же это такое, мол?.. И в Пекине на почти необъятной площади Тяньаньмэнь, — многомиллионный митинг, и на наших тридцати метрах: между магазином “Сельпо” по Красной улице и стеклянным “скворечником”, где дядя Вася, сапожник, сидит — на противоположной стороне...

Но в зале теперь, и правда, было битком. Ещё толпились, явно без надежды, в проходах, но уже плотно прилипли к стенкам по обе стороны те, кто журавля в небе твердо предпочёл синице в руках... Через одни и другие двери не успевали заносить стоявшие в холле на втором этаже ряды белых пластмассовых кресел — их тут же облепливали, словно ласточки — провода.

Знакомая работница, из наших первых, из “старичков”, поманила меня ладошкой, другой прикрывая местечко на только что внесённом цельном рядке, я тут же отсемафорил ей пальцами — нас двое! — и она бросила вниз, на сиденье, и другую ладонь. Но только мы с Сашей уселись, как за нашими спинами устроились две молодые женщины с ребятишками на руках... пропадай, моя телега, что делать!



Саша также встал, но добрые люди усадили нас на другой новообразованный ряд, всё тут же повторилось почти в точности, и на третьем новом местечке я сказал ему: это бесконечная история, я себя знаю, а ты не дёргайся больше, всё!

Усадил богатыря, державшего на каждой руке по девчужке с бантом — явно сестрички — а сам отошёл к раскрытым настежь дверям сбоку, позади толпы на цыпочках вытянулся... не радость ли?!

Столько пришло народу!.. И все — как будто знакомые, все — как будто свои.

Концерт уже разлился во всю, хорошо раскатился, уже успел взять зал за живое, когда Заволокин, вышедший слегка отдышаться да заодно на сцену да на публику глянуть, подошёл ко мне сбоку:

— Что это вы тут? Не нашлось местечка?

— Да нет, — сказал я. — Это болезнь: слабое сердце. Всё равно кому-нибудь уступлю.

Он понимающе улыбнулся:

— По нашим временам — болезнь редкая.

— Застарелая, да, — отозвался я. — Как мама в детстве учила... как в первом классе учительница.

После очередного номера он вдруг вернулся:

— Может, за кулисами посидите? По крайней мере, там есть на чём.

Я, благодаря его, только руками развёл: ну, мол, — коли такая честь!

Знал ли он заранее, что тащит “рояль в кусты”?

Я свою — в этом отношении — часть работы, как после оказалось, уже проделал. Можно считать — давно. За кулисами он усадил меня на футляр аккордеона, предварительно подвинув его поближе к краю занавеса:

— Хорошо видать?

Я только приподнял большой палец.

Не стану описывать сам концерт: что нового скажешь всякому, кто ждал заволокинских передач по телевизору, кто — как одно время я, было! — прямо-таки жил ими и дышал. Думаю, мы ещё отдадим себе отчёт, что он тогда сделал для всех для нас, — может быть, и сам не сознавая того, а только будучи *оружием звучащим* у Провидения.

Скажу только, что в тот вечер в ударе был и он сам, и его семейный ансамбль, и весь ансамбль “Играй, гармонь!” вообще.

Через несколько минут он подошёл ко мне:

— Всё в порядке?

— Нет слов!— сказал я своё обычное.

Он тихонько рассмеялся:

— А найти не хотите?

— Слова? — вдохновился я. — Да хоть сейчас!

— Нет, правда: может быть, хотели бы что-то сказать о нас? Мне тут уже успели шепнуть, что вы и в самом деле больше сибиряк, чем москвич...

— Давно готов сказать, Геннадий Дмитрич! Даю слово.

Это, и правда, было *честное* слово, а вовсе не красное словцо.

Ну, жила, давно уже жила во мне такая мечта: написать большую статью... очерк ли... рассказ ли... под названием “Казачьи и пигмеи”.

На полушутке, полунамёком сказал об этом художнику Сергею Гавриляченко, с которым нас крепко сдружила не только любовь к казачьей песне, но и она в том числе — так скажем... Так вот, “забил”, значит, я такое заглавие, и Сергей Александрович — заслуженный художник России всё-таки, проректор Суриковского института, профессор, а, главное — и настоящий мастер, и хороший, достойный человек — заулыбался: идёшь, спрашивает, по следам того самого казака-эмигранта, который в двадцатых годах из Абиссинии пробрался потихоньку в Центральную Африку, долго жил у пигмеев и стал там потом вождём?

Одна из сотен трагических, приправленных горьким юмором — потомственным запорожцам да без перца?! — казачьих историй, которые накрепко соединили в себе печальную правду с гоголевским, с чумацким вымыслом: как бравый урядник — в нашем пересказе, само собой — *кубанец* — поживши у пигмеев да ко многому присмотревшись, будучи потом на их, пигмейском, *кругу*, на племенном, значит, *сходе*, кликутым в атаманы, дальнейшими своими ежедневными, а также — что ещё важнее — еженощными трудами, не только поднял воинский дух, привил казачью манеру боя, укрепил обороноспособность и расширил, насколько пампасы позволили, владения племени, но и добился повышения рождаемости в целом и увеличения роста чуть ли не каждого новорожденного в отдельности...

— Не об этом ли казаке будет твой рассказ? — посмеивался Сергей Александрович, большой знаток реальной истории казаков и казацкой мифологии тоже. — Не о тех ли самых пигмеях?

Не о нём самом, о страдальце и труженике, но — о несгибаемом духе, который и в каждом из нас жить должен!..

Что же касается пигмеев, то к тем, африканским, ничего, кроме самой искренней симпатии не испытываю.

Но тут — о других.

...Летним вечером 1990-го я задержался в атаманском правлении Московского землячества казаков по какому-то неотложному делу — правление находилось в Братском

корпусе напротив Знаменской церкви на Варварке. Сидел над текстом очередного письма в какую-то очередную инстанцию: в то время это было чуть ли не главное мое, московского атамана, занятие.

Резко и широко распахнулась дверь, и появившаяся в проёме средних лет женщина в накинутой пестрой шали этак по-цыгански тряхнула плечом и без лишних — ну, вроде этих: “Здравствуйте!” или “Добрый день!” — слов представилась властно:

— Я — Тёткина!

— Великолепно, — сказал я, пытаюсь удержать невольно спугнутую неожиданной гостьей мысль: разумеется, она казалась мне чрезвычайно глубокою и значительной — какая же ещё иначе готова была упасть с кончика пера батьки-атамана с билетом члена СП в кармане? — Присядьте на минуту — пожалуйста...

— Я — Тёткина! — прозвучало ещё более громко и уже таким тоном, который обозначал примерно следующее: не представляешь, с кем имеешь дело, болван?!

А я, и правда, не представлял: ну, бывает же.

И не знал толком ни одного из бывших на слуху вокальных гигантов и гигантесс — за исключением, конечно, Вуячича и Пьехи, да и о них-то больше — по скабрёзному стишку да по весьма распространённому тогда анекдоту...

— Одну минутку, а? — сказал я просительно.

— Вы плохо слышите? — был громкий вопрос, произнесенный с весьма язвительной интонацией.

Пришлось отложить перо:

— Что надо-то, миленькая?

— Ищу своих друзей! — сказала она значительно.

— И кто они?

— Ансамбль “Казачий круг”!

— Это меняет дело, — отозвался я доверчиво.

Ну, куда денешься: для меня и нынче название этого уникального мужского хора моих товарищей — ничему не подвластный, как бы на уровне подсознания, пароль. — Тут я вам сумею помочь: они сейчас...

— У меня машина! — сказала она снова властно.

На звонок в мастерскую скульптора Геннадия Провоторова, известного медальера, открыл “старейшина” хора, Коля Шантаренков, Никифорович — дружок покойного Николая Рубцова. В дверях поперхнулся, и я понял это по-своему.

— Тут уже закусывают! — позавидовал благодушно.

Никифорович деликатно пропустил даму, а когда она прошла внутрь, потянулся к моему уху:

— Ты что, атаман... ты что, батька — офигел? Зачем эту воровку привёл?!

— Как?! — опешил я. — Сказала, друзья...

— Таких друзей, знаешь... За одно место, да — в музей. По той самой поговорке. Специально от неё скрылись.

— Что ж меня-то не предупредили?

— Наша вина, атаман, — по-братски простил меня Никифорович. — Она хоть без камеры?.. “Видак” не с ней?

— По-моему, в машине остался какой-то кофр. Но она не вынимала...

— Пока на разведку, ясно! — решил Никифорович.

Но для меня пока было — лес тёмный, и только потом потихоньку начало проясняться...

Ну, виноват: никак не могу, никак, несмотря на все разговоры о терпимости, или, как нынче, — о *толерантности*, какая в наших русских условиях похожа всё больше на *тоталерантность* — так вот, никак не могу принять душою сладкоголосых, но с изначальной, с родовой фальшью в глазах этих ласковых — хоть за пазуху сажай — баб-“лисанек”, безжалостные коготки которых оставили свой след не на одном простодушном горле — нет, не на одном!

Как она перед парнями заискивала, как неприкрыто лебезила: к одному, на другого неотрывно глядя, пересаживалась, третьему начинала, в истоме зажмурившись, подпевать, четвертому руку на краю стола многообещающе прикрывала своею белой, в перстнях, ухоженной лапкою...

Друзей моих сначала это явно коробило, но водочка делала привычное дело, брала своё — постепенно распелись, да ещё как... вообще-то вы слышали, как он поёт, “Казачий круг”?

На одном из первых славянских праздников, в Великом Новгороде, когда они вечером в большой брезентовой палатке репетировали, вокруг собралась толпа, среди которой выделялась “могучая кучка” замерших в недоверчивом изумлении кавказцев — мужской хор из Грузии... Стоило кому-то в толпе ненароком обронить негромкое слово или хотя бы излишне шумно перемяться, как головы “горных орлов” одинаково грозно поворачивались в сторону нарушителя священно-уважительной тишины, среди которой словно сама собою рождалась слитая из нескольких удивительно разных, но одинаково отрешенных от всего суетного и брэнного голосов, в печали своей и боли сокровенная песня.

Потом грузины не выдержали, скопом двинулись внутрь, и старший без обиняков спросил, как понимали они, о главном: вы кто? Из какой республики приехали? Какой национальности будете?

Русские! — был ответ.

Неправда, — возразили им. — Не может быть. У русских никогда не было такого многоголосья!

*Никогда?!*

Вот из этого как бы общепринятого, к стыду нашему, “*никогда*” и вызволял мужское русское пенье “Казачий круг”...

Как они тогда пели у Провоторова в мастерской!

— Какие вы молодцы, мальчики! — восхищалась Тёткина. — Куда остальным до вас... хоть стараемся, землю роем, как говорится.

И протягивала руку со старинными перстнями на пальцах, и постукивала коготком другой руки по серебру-золату да по драгоценным камням:

— Этот мне, между прочим, прямо на концерте в Нью-Джерси старый дед подарил: так я его своей песней растрогала... А этот — древняя казачка в Австралии. Бери, говорит, внучка, на память о нас тут, обо всех... этот — в Новой Зеландии, там тоже много стариков-эмигрантов.

“Хоть бы не показывала! — я думал. — Этой-то голытьбе, которой приличные штаны купить не на что! У них все денежки уходят на поездки в глубинку, в станицы, где дедов давно уже нет — остались только иссохшие вдовы да слишком рано постаревшие их дочери...”

В тот вечер меня ещё ожидали дела, ушел я от Провоторова прежде остальных и в московском нашем круговороте забыл потом расспросить, чем там у них так туго начинавшаяся спевка закончилась.

Но месяца через три-четыре увидел по телевизору концерт Тёткиной, и волосы на затылке у меня шевельнулись: да неужели же?!

Тут же позвонил Шантаренкову: так она тогда всё-таки записала вас? Тёткина?!

— Ну, конечно, — сказал он с грустной виной. — Вот как только ты ушёл, она принесла свой видак... Позвольте, говорит. На память... мы-то понимали, но думали, ладно, пусть пишет, лишь бы на пользу. На общую пользу, понимаешь?

— Какая польза, если от её интерпретации несёт пошлятиной за версту, а первооснова-то — чья?

— У неё даже и движения наши, и жесты не свои...

— Да в том-то и дело, что уже свои — только хабалка это и может. И так вульгарно жестикулировать, и неприлично приплясывать...

— Я же говорил тебе, атаман! — грустно сказал Никифорович. — Что ж теперь травить душу...

А с другой-то стороны: как не травить?

Разве им всё это поднесли на блюдечке, ребятам из “Казачьего круга” — за каждой ноткой ехали за тысячи километров!

Не в Штаты. Не в Австралию. Не в Новую Зеландию, которую голь наша перекатная, посмеиваясь, называла тогда Зелёндией...

Об этом я тогда уже успел написать, было опубликовано в “Казачьих ведомостях”, которые я тогда редактировал. Позвольте, дорогие мои, привести тут эту статью — отобрать у вас несколько минут дорогого времени. Но поверьте: дело этого стоит. *Артельное* наше дело.

**Бессмертие Дуся Шипиловой**  
**или**  
**Человек, поющий песню**

В своем Отечестве нет пророка... И послушать прекрасный “Казачий круг”, мужской вокальный ансамбль, по “наводке” знакомого итальянца прилетел из Кёльна в Москву доктор Ян Райхов, немец.

Дело было в рождественские дни, и после нескольких донских да кубанских песен “казаки” завели “Щедровочку”.

Зазвучали такие бесхитростные в народном переложении слова:

Как в Е-русали-име  
рано зазвонили!  
Ой, добрый вечер!  
Ой, щедрый вечер!  
Всем добрым людям —  
да и на здоровье!

Что-то странное со мною случилось: до боли знакомая интонация заставила сжаться сердце, память повела в родные края. Так поёт “Щедровочку” чисто женский теперь — последний певший в хоре казак недавно помер — хор в станице Бесстрашной, это недалеко от родной моей Отрадной... Но вот поди ты: в строгом мужском пении будто стал ясно различим, будто ожил голос Дуся Шипиловой... бедная Дуся!.. Так и не дождалась съёмки фильма, которую я ей так долго обещал. Приехали, наконец, снимать, собрался хор: а где Дуся?.. А Дуся нет.

“Померла наша Дуся!..”

Как?!.. В такие-то годы, как у неё? В таком возрасте?

В том и беда, в том и беда. Кабы только съёмки цветного фильма — многого в своей жизни Дуся так и не дождалась. Слишком многого!

Не удержался теперь, в строгой тишине специально оборудованного зала тут же, как закончилась песня, подошёл к Саше Переслегину, тянувшему, как и Дуся, первым голосом: “Послушай, — говорю, — эта ваша “Щедровочка” так напомнила мне родные края... хор из Бесстрашной, есть такая станица...” “Да ведь это их песня, мы были у них в

станции, ты разве не знаешь? — обрадовался Саша. — И когда они приезжали в Москву на фольклорный концерт после съезда композиторов, мы тут их записывали, бесстрашнцев. Там есть такая — Дуся...” “Шипилова?..” “Да, правильно, она, — вот ты и передай ей при случае...” “Дуси уже нет, — говорю. — Умерла Дуся”. И Саша Переслегин — тоже: “Как это — умерла? Она ведь совсем не старая... А эта песня как раз её — Дусина!”

Вышел потом на улицу, в ночь, и снова сжало горло, кольнуло глаза: Дусю схоронили на высоком кладбище под Бесстрашной, среди холмов нашего Предгорья, Дуси давно нет, но её загадочной, полной невысказанной любви, интонации, тут, в Москве, вторит, сохраняя в точности, Саша Переслегин, и знающий толк в народном творчестве, известный не только в Европе доктор искусств Ян Райхов записывает на магнитофон новейшего поколения... это что! Он вызовет “Казачий круг” в Кёльн, договорились?.. Все расходы на себя берет, да. И там он запишет хор с помощью лазерных устройств, которых пока нет в России, они и за рубежом ещё — редкость...

Опять заныла душа: может, в этом и есть Дусино бессмертие — в звучании песни “Казачьего круга”, в записях доктора Яна Райхова из Германии, в его уникальной фонотеке...

Дома я разыскал блокнот, в котором пытался хоть что-то записать о бесстрашненских певицах, чтобы каждую из них потом представить себе, в московском далеке своём о ней вспомнить. Вот и о Дусе Шипиловой чуток: “26 г. рожд. В войну одна не могла ярмо поднять, надеть на быков, приходилось на помощь звать. Плуг не могла на повороте удержать. Набок упадёт, и ты опрокинешься... Потом дояркой в колхозе. Всю остальную жизнь. Работать некому, и нынче поднимается в три утра”.

Да разве удивительно, что бедная Дуся так рано умерла? Скорее чудо, что долго — при такой-то доле! — жила.

А как пела Дуся Шипилова, как она пела!

Пожалуй, это и есть общее бессмертие наших предков — народная песня. И пение — один из способов общения с ними. Самый, может, простой. Самый общедоступный. И самый скорый. Запел — и словно подсоединился к той невидимой сфере, которую они напели для нас. Наговорили. Наплакали. Намечтали. Напридумывали. “Наприказывали”. Намыслили. Совет оставили. И — завет. Потому-то человек, поющий народную песню, сразу сильней становится. И тот, кто слушает, — тоже... Думаете, отчего нам и так долго петь не давали старые песни и не давали так долго слушать?.. Силы нашей боялись. А вы думали?!

В моем архиве есть не шибко грамотное письмо, из тех, о которых говорят: мол, словно курица — лапой... Но зато какие в нём есть слова!

Прислал мне это письмо несколько лет назад покойный теперь Николай Екимович Алымов, старый казак из станицы Малотенгинской... звучит название? Русскому уху о чём-то славном напоминает?.. Тоже кубанская станица, с Отрадной рядышком совсем: старик-ветеран критиковал заведующего отделом культуры Нышана Керселяна за невнимание к народному творчеству и заступался за колхозный хор, хотел помочь его создателю и бессменному руководителю Илье Собко... эх, какой голос у самого Ильи Ивановича, какой голос! И вот что Алымов писал о казачьей песне:

“Это токо кажется, что без её можно жить. А всамделе — нет. Я во время войны был санитаром, у меня за это наград да наград, и вот вытащу кого спод-огня, стану перевязывать, и тут же начинаю громко песню кричать. Боец сперва оторопееет, от удивления даже стонать перестанет, а потом через силу мне: смерть рядом, а ты песню играешь! С чево распелся? А я ему: потому и пою, потому и играю песню, чтобы тебе не было больно, а мне — не было страшно!”

А разве не страшно нам нынче за детей, за внуков своих, раненных отравленными осколками массовой культуры?.. От неё-то и поражение — массовое... И разве не больно за Россию, за родину, забывающую свои песни под сатанинский скрежет и свист вовсе не своего — чужого рока?

Потому-то Союз казаков вместе с Российским Союзом молодёжи и посчитали нужным: несмотря ни на что провести Всероссийский, охватывающий и традиционные казачьи земли, и другие, куда забросило казаков их горькое рассеяние, широкомасштабный праздник — фестиваль народной песни. Казачий смотр.

Женщины из хора станицы Спокойной — хор так и называется “Спокоянка” — отдали в Армавире проводникам по двести рублей за “сидячее место” вместо положенных за билет до Москвы пятидесяти... И по сто пятьдесят они отдали за “два нажатия стоп-крана”, как сами деликатно об этом рассказывали: не успевали сесть, бежали за вагоном, одни подсаживали друг дружку, другие втаскивали — и все толпились в тамбуре и в проходе — не хотели, чтобы кто-либо из подруг, чего доброго, остался. Уж если пригласили в Колонный зал — так всем ехать!

Но разве это самое страшное препятствие народной песне к той самой душе, которою она и была когда-то рождена?.. Трудное, но так необходимое всем нам возвращение.

Когда о приключениях “Спокоянки” узнали собравшиеся в тот вечер в Колонном зале, по рядам прошёл из рук в руки полиэтиленовый мешочек с родными русскими “деревянными”... И пришла записка из зала: передайте, мол, так славно поющим этим казачкам, что это им на обратную дорогу.

Пришлось и поблагодарить, и тут же сказать: эти женщины, спасибо их самоотверженным сердцам, ещё и нас с вами в бесплодной от митингов столице прокормят!

Недаром же именно они привезли пышный, с кубанским узором каравай, который попросили передать Патриарху Московскому и всея Руси Алексию Второму: словно в ответ и, конечно же, в благодарность за его высокое Первосвятительское благословение не только всего казачьего праздника в Москве, но и казачьего возрождения в целом.

Не хлебом единым жив человек!.. Но станут у тебя, наконец, сообразно почитаемы — на твоих просторах, Святая Русь, — и хлеб насущный, и окормление духовное!

Намеренно рассказываю тут об одних кубанцах и ещё долго мог бы о них рассказывать: они земляки мои, я знаю их давно и люблю, и они из уважения к общей нашей родине не дадут сказать мне и полслова неправды... Пусть о других пишут другие, кто знает своих не меньше, чем я кубанцев, и не слабее моего своих любит. На то и праздник, чтобы как можно больше народу... *миру*, как в наших станицах говорят, в нём участвовало: и пело, и плясало, и радовалось, и объяснялось в сыновней любви... А объясняться есть кому!



Из Ардона, что под Владикавказом, приехали тогда терцы: прекрасный хор!.. И им тоже не раз кричали “любо!”, и тоже долго не отпускали со сцены. А ведь и они волновались: в Москву ехали без обратных билетов и тоже сомневались — как встретят?

Встретили их тут свои: осетины, которые дружат с землячеством казаков в Москве... Об осетинах: в концертной программе их самих не было. Так же, как не было казаков-амурцев, забайкальцев, оренбуржцев либо уральцев — разве всех сразу соберёшь?.. Но когда осетины узнали, что в Москву приехали и башкиры, исстари служившие в казачьих полках и первыми входившие когда-то в Париж, и калмыки, приписанные к войску Донскому и гордо въезжавшие в столицу поверженной Франции не только на лошадях, но и — знай наших! — на верблюдах — так вот, когда узнали осетины об этом столь представительном братском — или, как говаривали раньше, *свойском* собрании, то прикатили домой к восходящей своей звезде — Феликсу Царикати: выручай, Феликс!

И Феликс сбежал с собственного концерта, но поддержал честь побратимов-осетин: тоже спел на казачьем смотре в Колонном зале.

Но вернёмся к башкирам и калмыкам: насколько самобытны были танцы и песни тех и других, настолько же высоко оказалось мастерство приехавших из Уфы и Элисты исполнителей. Зал либо застывал в радостном изумлении, либо взрывался восторженным шумом одобрения, а по благодарным лицам артистов было ясно видать, как дорога им эта братская признательность.

Любопытная деталь: если в программе у башкир был знаменитый “Беркут”, а также боевой танец и песня о 1812 годе, то у калмыков — выразительнейшие “Степные орлы” и танец калмыцких казаков, посвященный тому же 1812-му... И там, и тут — будто явный — как бы даже видимый глазом — взлёт национального сознания, но и там и тут не отрывается оно от прочной исторической памяти. Спасибо, братья!.. Хоть вы поддержите нынче гордый дух некогда великой России, которая стовосьмидесятилетие Бородина встречает не в лучшей своей поре.

Так уж, видно, нынче все взаимосвязано и взаимозависимо, что тут не обойтись без рассказа ещё об одном удивительном событии — оно тоже не только одухотворило начало нашего смотра, но и придало ему особое, не только миротворческое, но и мирозидательное значение.

Случилось так, что башкиры последними из гостей прибыли в Москву: около восьми утра прилетели в день открытия праздника. А в десять атаман Рустем Искужин и сотник Камиль Рахимов уже были в Михаило-Архангельском храме Донского монастыря. Дождались окончания торжественного молебна по случаю освящения только что привезенной “старостой” — а, коли хотите, старейшиной — “Казачьего круга” Николаем Шантаренковым из Софрино, из мастерских Патриархии, иконы Донской Божией матери, написанной специально для Московского землячества, а потом подошли к девяностолетнему священнику отцу Даниилу и попросили его принять дар: на восстановление Малого Донского храма, пострадавшего во время недавнего пожара в возрождающейся обители.

С благодарностью принял отец Даниил пожертвование иноверцев-мусульман, радостно благословил молодых башкир на терпеливый подвиг служения Отечеству.

Вечером о братском даре башкир я рассказал на торжестве в Колонном зале, и растроганная публика, как “на кругу”, дружно “крикнула” атамана из Уфы. Рустем

Искужин в накинута́м поверху полевой формы национальном халате подошел к микрофону на сцене и достал из нагрудного кармана листок бумаги: “Мы хотели всего лишь повторить то, что сто восемьдесят лет назад сделали казаки-башкиры... Пусть невелик дар, собранный в основном нашими студентами, — это символ понимания и одобрения поступка наших верных России предков”.

Поблагодарим их нынче, славных предков наших башкирских братьев, хотя бы внимательным прочтением документа, по-своему уникального — его тогда и огласил в Колонном зале Рустем Искужин:

“1813. Сентября 8. — Пожертвование 1000 рублей денег конниками первого башкирского полка на восстановление исторического памятника в Москве — Донского монастыря, разрушенного французами.

Перевод письма с башкирского языка к графу Матвею Ивановичу Платову от 1-го Башкирского полка старшины Кутлугельдея Темировича.

“Ваше сиятельство, милостивый государь, граф Матвей Иванович!

Уже с давних времен под скипетром августейших российских монархов с любезными своими семействами блаженствуем. Когда вздумали хищные французы напасть на Отечество наше, по воле всемилостивейшего нашего Государя призваны и мы на помощь для обороны нашей границы под начальство вашего сиятельства. При всем нашем рвении не могли унять сих святотатцев, допустили до Москвы, где ограблены древние чудотворные храмы Божии, в чем считаем себя не менее виноватыми, что не укротили сволочь нечестивую и позволили ограбить святыню. Само провидение наказало извергов за их бесчестный и безбожный поступок против святой церкви.

А ныне услышали мы, что герои русские намерены возобновить благолепие Донского монастыря в Москве. Благоволите, Ваше сиятельство, и нам удостоиться, по возможности наших сил, участвовать в сем богоугодном деле. Мы прилагаем тысячу рублей ассигнациями к определенным даяниям в сие святилище. Хотя мы считаемся иноверцами, но Бог у всех народов один! Удостоив принять нашу просьбу, по гроб обяжете всех нас.

Сентября 8 дня 1813 года””.

Утром в Михаило-Архангельском храме после нынешнего подарка молодых башкир атаман Невской станицы из Санкт-Петербурга Борис Алмазов сказал растроганно: “Да ведь это первое чудо нашей новой иконы, братцы!”

Собравшиеся в тот вечер в Колонном зале и в самом деле стали свидетелями чуда, всеми нами уже так долго ожидаемого: чуда возвращения достоинства и самоуважения, так ярко выказанного башкирами, и чуда единения в старом российском братстве.

“Башкирам — слава! — вместе с казаками кричал в тот вечер весь зал. — Слава!.. Слава!”

И это была дань уважения и калмыкам — им кричали “славу” ещё и отдельно — и татарам, столько веков тоже делившим с казаками их нелегкую долю, и многим-многим другим иноверцам, исповедующим тем не менее одно единое: святую верность матери-земле и отчому дому... Может быть, нам стоит совершить и еще одно небольшое путешествие в историю? “Станция назначения” на этот раз — не Москва, но — Париж.

Вот какую картину поверженной французской столицы приводит наш наверняка непредвзятый современник, швейцарский дипломат и политик Анри Валоттон в своей книге “Александр I” — картинка эта почерпнута им из английских архивов: “Улица Сент-Оноре выглядела совсем необычно: по ней одновременно прогуливались немцы, русские и азиаты, прибывшие от Великой Китайской стены, с берегов Каспийского или Черного морей. Это были казаки в одежде из овчины, с длинными пиками, рыжими пышными бородами и перекинутыми через шею маленькими хлыстами, называемыми кнут; калмыки и другие татарские племена, с плоскими носами, маленькими глазами и бурым цветом лица; башкиры и тунгусы из Сибири, вооруженные луками и стрелами; черкесские вожди, рожденные у подножия Кавказа, с головы до ног в блестящих кольчугах и в остроконечных шлемах...”

Слава! — им всем. — Слава!..

Вечная слава.

За всеми этими радостными сердцу воспоминаниями и рассуждениями не забыли о “батюшке Синем Доне, Доне Ивановиче”? А ведь он был представлен двумя большими замечательными ансамблями: взрослым “Театром казачьей песни” из Волгограда и детским “Казачком” станицы Аксайской из-под Ростова... Что правда, то правда: самое большое число записок с горячей просьбой спеть родные песни пришло из зала от живущих в Москве потомков донских казаков. И детишки, чинно сидевшие сперва среди публики и посаженные потом, принятые на сцене — из рук в руки — были: девочка в костюме донской казачки, мальчик в донской казачьей форме. И тут, среди столпотворения этого вавилонского в нашей нынешней “белокаменной” не забыли, слава Богу, кто они и откуда! И тут, среди сбивающих с толку новостей и оглушающей музыки — помнят!

Тепло принимали и астраханских казаков — из Черного Яра. Дома у них прекрасный большой хор, но приехать смогли лишь пятеро из него... Все по той же, будь она неладна, причине, по которой собирали на обратный путь женщинам из станицы Спокойной...

Но как черноморцы пели, как пели!

Кубань и Волга, Дон и Урал,  
Просторы Сибири, седой Байкал!  
По всей России — от реки до реки  
—  
Могучей стеной встают казаки!

Эта мощно прозвучавшая песня, сочиненная руководителем черноморского хора Михаилом Трягиным, обещает стать общеказачьим гимном.

Остаётся рассказать о сибирских казаках, о хоре “Станица” из-под Омска — он единственный получил на этом вечер денежный приз... ох, этот приз!

Почти два года назад, в самом начале казачьего возрождения, в Московское землячество стали приходиться письма от Мелитты Эриховны Клейненберг из Житомира. Мелитте Эриховне — дай ей Господь здоровья ещё на долгие годы! — давно за восемьдесят, она заслуженный врач, ещё работает... И — тоже помнит. Хорошо помнит родословную: предки её по материнской линии — терские казаки. Прислала сперва копии послужных списков и старинные фотографии, истершийся до дыр номер “Областных терских

ведомостей” за 1905 год. А потом вдруг пришел денежный перевод от Мелитты Эриховны: сто рублей. “На возрождение казачества” — так было предписано в графе “для письменного сообщения”. Пожалуй, опубликовавшая целую полосу о казаках под кричащим, набранным аршинными буквами заголовком “ШАШКИ К БОЮ ГОТОВЫ: ОСТАЛОСЬ НАЙТИ ВРАГА!” архидемократическая, в объективность играющая “Литературная газета” была бы счастлива, если бы на деньги, присланные казачкой-пенсионеркой из Житомира, мы бы, и в самом деле, купили шашку либо нагайку... И не одна “Литературка”, к сожалению, — не только она!

Но куда, и правда, вложить деньги доброй женщины так, чтобы не “обезличить” их — ведь, что там не говори, проблема!

И решение её, наконец, пришло, когда в списке участников ансамбля “Станица” замелькали схожие немецкие фамилии. Решили: документы, присланные Мелиттой Эриховной, — ардонцам, в музей Терского казачества. Деньги — сибирским немцам. В казачий хор, которым руководит Иван Иванович Эйленберг. С последующим непременно написанием благодарной весточки Мелитте Эриховне в Житомир: теми и другими. С Кавказа и — из Сибири.

И мы говорим: “Спасибо, доктор!.. Нынче Вы пытаетесь залечить самую тяжелую рану, которую получала когда-либо наша родина!”

А что же “Казачий круг”, с которого мы начали рассказ о нашем смотре?

Публика долго не отпускала его со сцены — ансамбль пришлось уводить чуть ли не силой, по дороге за кулисы стыдя по-дружески: конечно, вы — герои этого праздника, так, но есть на вас, братцы, крест?!.. Вон бедные “Истоки” давно уже стоят наготове, уже заждались, но для них уже не осталось времени — из-за вас!.. Вон “Славянсий лик” готовится пропеть всему казачеству “Многая лета” и всем нам, всем — “С нами Бог”. К слову, этот известный хор, приглашенный третьим из организаторов Казачьего Смотра — Всероссийским бюро пропаганды художественной литературы, — этот известный хор как бы венчал духовный поиск народной песни...

Казачий праздник в Колонном добросовестно “писали” видеокамеры нашего бывшего ЦТ, но под конец операторам надоело пожимать, глядя друг на дружку, плечами, и они решительно снимали наушники... все-таки что, в конце-то концов: чинный концерт в бывшем Дворянском собрании или разудалое сборище в сельском клубе, когда половина зрителей уже пляшет на сцене, а половина зала подпевает и в такт прихлопывает?

Что ж, в этот вечер сцена и зал жили одной единой жизнью.

Из Колонного зала не расходились до тех пор, пока и без того долго терпевшие служители не без сочувственных вздохов, не без виновато разведенных рук погасили, наконец, свет.

А что — если бы вы только слышали! — говорили всего повидавшие на своем веку, усталые, как крестьянки, но с помолодевшими глазами гардеробщицы, тоже ощутившие себя, как и должно оно быть, частью великого народа и его разоренной проходимцами всех мастей чуть не дотла, но все-таки не собирающейся сдавать самое себя в аренду Родины — великовечной России!

*“Казачьи ведомости”, 1990 г.*

Может быть, теперь мне поверите, теперь вы поймёте, что к доброму слову о Заволокине я был давно готов?..

И как оно всё любопытно в тот день складывалось!

Не успел Геннадий Дмитриевич от меня отойти, как на сцену быстренько поднялась эта симпатичная женщина — как жаль, что не могу назвать её имени-фамилии, ну, стыдно мне, правда, — стыдно!

Вручает Заволокину свой заветный садово-огородный букет, а после протягивает две моих книжечки:

— А это вам просил передать наш писатель!

— Так вот же он тут — с нами рядом! — обрадовано нашелся Геннадий Дмитриевич. — И, кажется, желает что-то добавить...

Ту минуту остро переживаю и сейчас. И очень, очень хочу, чтобы её вдруг вспомнили присутствовавшие тогда на концерте мои сибирские, мои новокузнецкие земляки.

— Если вы пришли сюда и все вместе успели отбить ладоши, вы поймёте меня, — сказал я им тогда. — Такое, тем более в наше непростое время, редко случается, но нынче я счастлив дважды: во-первых, потому, что я среди вас, на нашей Антоновке, где прошла наша общая молодость. И, потому, во-вторых, что в этом любимом нами Дворце, который таких аплодисментов, по-моему, ещё никогда не слышал, собрал нас не кто-нибудь, а Геннадий Дмитриевич Заволокин...

Вот он тут только что нам сочувствовал и как бы предупреждал от грядущих бед: от приватизации того, что вы все тут долгие годы своими руками создавали, вы — все!..

Но самое страшное, что по нашей Руси не только идёт, но прямо-таки с каждым днём набирает обороты — приватизация нашего с вами народного духа... Вы только вспомните: сколько их, кто его растаскивает! Кто и по телевизору, и на концертах, на которые мы с вами не сможем купить билет — ну, нет у нас таких денег, ну, нету! — без конца твердит нам: это — моё!.. Это я один могу, это я одна, это — я!..

А Заволокин едет из края в край и всем, кто пришел на встречу с ним, говорит: послушайте-ка внимательно друг друга! Один на одного посмотрите-ка — это всё ваше, ваше! Вы видите, как вы талантливы, как щедры душой, как по-прежнему добры, несмотря ни на что! Как духом народным сильны. Берегите его, он — наше общее достояние, берегите!

В то время, когда столь многие Россию растаскивают на куски, безжалостно раздирают, Заволокин её самоотверженно соединяет, и все его поездки по дальним краям — это стежки, которыми он накрепко сшивает родину: их не разорвать! Никому!..

Он уже шёл ко мне с раскрытыми, чтобы обнять, руками.

— Вот вы, оказывается, — сказал с удивлением, — какой говорун!

— Отчего же нет, если в духе и правду говоришь?

— Ну, спасибо, спасибо...

Зал встал, покачивались счастливые лица, светились глаза, мелькали ладони, и одобрительный, восторженный гул, казалось, приподымал потолок...

За сценой нашёлся стул, я сидел на нём рядом со стоящим футляром, когда ко мне подошла Анастасия, дочь Геннадия:

— У нас одного человечка не хватает — поможете?

— А что надо сделать?

— Пройдётесь со мной на сцене.

— Да я ведь с детства был увалень...

— А ничего не надо делать, пройдётесь, и всё — вот вам гвоздичка...

И сподобился я: туда и сюда несколько раз прошёлся по сцене с цветком с Анастасией под руку...

Назавтра мне надо было в Новокузнецк, в сам-город, и где-то около полудня я зашел к заместителю генерального Запсиба по кадрам Борису Родионовичу Махалову:

— Поможешь, Борь? Если своей машины нет, может, к кому-то определишь?

И тут в кабинет к нему вошла директриса Дворца культуры Маргарита Сухотская.

— Вот тебе и повезло, — сказал мне Борис. И кивнул Маргарите: — Возьмёшь в свой “джип” Гарика?

Она смерила меня взглядом, который мой предшественник на посту редактора многотиражки “Металлургстрой” и мой первый учитель Геннадий Емельянов, светлая ему память, обозначал: “Смотрит, как солдат на вошь”.

— Этот Гарик! — процедила сквозь зубы. — Его не то что в “джип”...

— Что-то случилось? — спросил Махалов.

Её будто бы невольно передёрнуло:

— Вчера Заволокин всю нашу пьянь собрал! — сказала брезгливо. — Бомжатину со всего поселка. Думала, Дворец разнесут...

— Неправда! — горячо сказал я. — Там было столько знакомых...

— Знакомых алкашей?

— Зачем ты так? Столько народу с детишками... с такими светлыми лицами...

— Да уж, да уж!

— А Гарик-то причём? — никак не мог “въехать” в ситуацию Махалов.

— Гарик сперва благодарственную речь там сказал, а потом ещё — с цветочком по сцене...

— Ну, не с бутылкой же! — шуткой пытался грозу разрядить Махалов.

Маргарита прямо-таки вскрикнула:

— Только этого ещё! — и тут же вдруг сменила гнев на милость, как говорится. Что делать: административный театр! — Пойдем, если Борис Родионович настаивает. Подвезу.

— Ну, уж нет! — сказал я. — Запомни: никогда!.. И не только в твой знаменитый “джип”... Никогда!

Сколько лет с тех пор пролетело!

А для меня так и оставалась загадкой эта неожиданная вспышка всесильной тогда на нашем Запсибе директрисы Дворца культуры.

Дворец в ту пору был полная чаша, как говорится: что уникальные инструменты, что — новенькие красочные костюмы... Не вылезали, считай, из-за рубежа, и дома все ходили перед всесильной Маргаритой на цыпочках и заглядывали ей в рот. Директрисе ни в чём не было отказа... Приболела? В Москву, в Москву!.. Столичные врачи не могут помочь? Ну, что ж, тогда — хиллеры на Яве. Удачного взлёта и мягкой посадки!

— Балуете вы её, — сказал я как-то заму генерального по экономике Геннадию Арыкову, тоже нынче покойному. Скольким это приходится теперь говорить: светлая память...

— Для нас это очень важно, пойми, — мягко заговорил Арыков. — Я могу сколько угодно рассказывать капиталисту о комбинате и о нашей продукции, но когда вечером привожу его на концерт, который Сухотская привезла, он тут же понимает, что медведи по нашим улицам днём не ходят, уж это точно. И соглашается к нам прилететь...

Можно бы Сухотскую обвинить в известном “преклонении”, как раньше говаривали, “перед западом”, но ведь грех, грех: кроме этих — ни слова в простоте — “Аверса”, “Ювенто”, “Вела”, “М-Студио”, “Консонанс”, исполняющих “Фиесту”, “Кафе Латино” или “Латино-американскую феерию”, а если Петра Ильича Чайковского, то непременно — ““Формейшен” на темы”, во Дворце и были, и, слава Богу, ещё остаются и прекрасный ансамбль “Сибирский сувенир” с его самобытными “Шенкурскими заковырками” и “Кадрилью”, и великолепная хореографическая студия “Калинка” с удивительной “Юбилейной каруселью”. Да многое ещё, многое другое, до чего пока не успела дотянуться, чтобы лишиться финансирования, жаднящая рука новых хозяев — приватизаторов.

Так откуда же эта высокомерная псевдо-аристократическая ненависть к глубинному, подсознательному началу?

Уж не в чёрной ли попросту, откровенно бабьей, чего там, ревности к аплодисментам, которых в таком оглушающем изобилии до того, и действительно, во Дворце не бывало? Тогда и я, во многом как бы спровоцировавший их, и я, конечно же, — виноват.

Или всё куда глубже, и мы тогда наблюдали неожиданно возникший духовный бунт?.. Стихию, что вдруг выплеснула наружу угнетаемую обстоятельствами народную волю, которую совсем недавно так горячо звали к возрождению и национальной самоидентификации и обманом вдруг заперли в душном закутке чуждой суррогатной культуры?

### **Как я вдруг “нашел крайнего”**

Через несколько лет Сухотская переехала в Москву и стала главой нашего кузбасского землячества.

По привычке пришел на собрание, устроился рядом со старым добрым знакомцем Иваном Фёдоровичем Шиловым. Теперь уже генерал-полковник, только недавно в должности первого зама министра МВД переживший всю эту недостойную историю с ГКЧП, когда то давно, ещё в чине старшего лейтенанта, он был начальником нашего Заводского райотдела милиции и был добровольным консультантом молодого-начинающего... корпевшего как раз над вторым своим романом... “Пашка, моя милиция”, да.

Роман по сути был вовсе не о “ментах”. О народном характере. И о народной правде, поверьте.

Все эти сорок лет правду мы сохранили и в отношениях с Шиловым. Может, оттого-то я потом и взорвался, что от этой правды меня оторвала сладкая пустобайская ложь?

Потихоньку, на братской ноте, с Иваном Фёдоровичем перешептывались об общих, с кем давно не видались, старых товарищах, и громкий голос ведущей встречу земляков Маргариты, в котором неизвестно чего было больше — то ли выверенной торжественности, а то ли показной задушевности — звучал для меня как бы под сурдинку.

— С нами... находится... наш замечательный, — взялась декламировать Сухотская, и сознание, воспринимавшее это вторым планом, привычно мирилось: давай, мол, давай. Кто тут у тебя герой — теперь уже здесь? Пробуй старого воробья на мякине провести, пробуй!

— Наш выдающийся... земляк... наш...

Ну, давай-давай, не тяни...

— Наш талантливый, — всё набирал значительности голос Сухотской, — всеми горячо любимый... писатель...

Мы с Шиловым невольно притихли. Я головой повел, оглядывая зал: да кто же тут ещё — из нашего брата?

— Сейчас он выступит перед вами... попросим его...

И под возникшие в зале дружные хлопки Сухотская прокричала вдруг в микрофон мои имя-фамилию.

— Вперёд! — шуточно скомандовал улыбнувшийся Шиллов.



Обычное дело, ну, не так ли? Как говорится, не первый год замужем. Я ли не опытный говорун?

Но во мне всё кипело, пока шёл: зачем этот медовый голос... зачем эта фальшь, если некогда мы объяснились совсем в иных чувствах?

Или мне не хватило в тот день самообладания? Не хватило ума?.. Уж больно неожиданно для меня всё это произошло.

Давно я так косноязыко не говорил в микрофон:

— Вообще-то мне непонятно, Маргарита... Зачем всё это притворство... вся эта твоя неискренность. Ты ведь иначе думаешь, это мы с тобой оба знаем. Мы — идеологические противники, и говорить тут я ничего не буду... Извините меня, земляки. Извините!

Вышел из-за трибуны, оставив под завязку набитый зал в Институте стали в полном недоумении...

И никогда больше в землячестве не появлялся.

Только теперь, когда за компьютером вёл свой одинокий “разбор полётов”, до меня вдруг дошла суть произошедшего и в зале Дворца культуры на нашем Запсибе во время концерта Заволокина, и после — в арендованном у будущих сталеплавильщиков.

Дело, скорее всего, не в том смешении чувств, которое испытал тогда в Институте стали, нет.

Может быть, с горних высот до меня опять долетели еле слышные тут, внизу, отголоски великой духовной битвы, которую ради нас ведут наши предки с извратителями народного сознания и хулителями веры?.. Разве она когда-либо затихала, эта битва? Разве не стала нынче ожесточенней?

Как раз потому, что сами мы не добились пока успеха, что вслед за первым поколением, названном извратителями “поколением пепси”, мы упускаем уже второе — теперь это, видите ли, “новая волна”... Девочки семи-восьми лет задирают на эстраде куцые платяшки и вертят попками не хуже опытных обитательниц публичных притонов, а мы всё только ворчим и отплёвываемся...

Всё только ворчим.

И давно копившееся возмущение против официальной лжи и государственного притворства вылилось вдруг всего-то в протест против опытной, ещё комсомольской школы, “актрисы”...

Размышляя над этими грустными записками, достал с книжной полки три специальных выпуска “Роман-газеты”, один за другим вышедшие в девяностых годах в Москве при финансовой поддержке истинных радетелей Кузбасса, которых тогда, к сожалению, было куда больше, нежели сейчас.

1994 год, “Кузнецкая крепость”: о стальной Западно-Сибирской Республике, которая тогда упрямо держалась наперекор московским захватчикам. 1995 год, “Лава”: о шахтёрском движении, которое уже стало осознавать предательство въехавшей на его

горбу во власть кремлевской верхушки. 1996 год, “Огненный передел”: о разграблении государственной собственности и манипуляции сознанием обездоленных.

В этом последнем выпуске после тревожной, но всё-таки “академически” сдержанной статьи новокузнецкого благочинного Василия Буглакова, настоятеля церкви Архистратига Михаила следует большая подборка школьных сочинений старшеклассников “Спаси, Господи, люди Твоя”, предваряемая кричащими строками преподавателей литературы Нины Алексашовой, Любови Никоновой, Галины Филевой: “Это голоса терроризируемых, загоняемых в угол, оцепленных преступниками, поливаемых кровавой грязью с телеэкранов, живущих в загазованном котловане без воздуха, без нормальной воды и полноценной пищи”.

А вот отрывки из самих сочинений:

“Куда идёт наша страна? Что происходит с людьми? Ведь так, как живем мы, не смогла бы жить никакая иная страна. Давно известно, что русские — живучий народ, но ведь не до такой степени. Похоже, кто-то решил поэкспериментировать над нами, как это уже делали наши предшествующие правители. На посту президента человек, которому давно пора на заслуженный отдых, в парламенте — клоуны. Россия из великого государства превращается в нищую, с протянутой рукой, страну. В то время как “новые русские” делают огромные состояния на нашей глупости и доверчивости. Где, в какой развитой стране (ведь считается, что мы живём именно в такой стране) учителя, врачи, инженеры, да и все прочие люди, от которых зависит будущее государства, живут так, как в России? Многие работают уже только ради идеи, месяцами не получая заработанные деньги”.

Евгений Мешков, 11 кл.

“Поразмыслив, я решил, что наша жизнь все-таки улучшится потому, что хуже уже некуда”. Штоколов Андрей, 10 кл.

“Наша страна великая, но неумная, и хотя я её люблю, если у меня будет возможность уехать, я не задумываясь уеду за границу”. Евгения Колпакова, 10 кл.

“Каждый человек имеет право на выбор. Вы сделали свой выбор. Мы тоже должны его сделать. Но мы не желаем, чтобы наш выбор оказался таким же, как ваш. Мы ненавидим ту атмосферу, в которой сейчас живём”. Олеся Чуманова, 11 кл.

“Может, люди потеряли веру в светлое будущее? Потеряли веру в свою родину, великую страну? Да какая она сейчас великая! Что с ней стало! Где та сила, та мощь, против которой не устояли Наполеон и Гитлер... Нынешнюю Россию можно назвать пародией на великую державу. Вот до чего довели нашу страну люди, обезумевшие от денег и власти”.

Ольга Трунина, 11 кл.

“Вот эта фраза русского мыслителя А. Ильина, выражающая моё мнение о нынешнем состоянии нашего государства: “В душах царит хаос, о публичном спасении никто не помышляет; чернь ищет хлеба и зрелищ; среднее сословие жаждет наживы; высшее сословие — почестей и славы — и все несут свое государство врозь””. Оксана Качина, 10 кл.

После этой подборки помещена большая статья инженера-шахтостроителя Геннадия Хаустова, председателя комитета родителей, чьи дети пострадали от тоталитарных сект: “Духовная оккупация Сибири. Новый крестовый поход: “Евангелизация России””:

“Секта “Аум Сенрике” — мизерная песчинка в сравнении с огромной армией зомби, которую сейчас лихорадочно создаёт Запад руками множества миссионеров. Миссионеры орудут умело, увлекают в свои секты телевизионными передачами, музыкой, лекциями, обаятельными голливудскими улыбками, раздачей бесплатных брошюр, Библий... В нашем Новокузнецке американские миссионеры, проходя мимо играющих ребятишек 8-10 лет покупают им всем мороженое и приглашают в свою секту, где их тонко обрабатывают. Много горя в семье принесла тоталитарная секта “Христиане полного евангелия” (по-другому “Церковь Живого Бога”). В Новокузнецке её формирование называется Церковь “Живая Вода”.

Родителей и педагогов учебных заведений стали беспокоить резкие изменения в психике детей, вовлеченных в “Живую Воду”. Дети становятся отрешенными, бросают учебу, впадают в агрессивное состояние, отрекаются от родных, уходят из дома и живут у “братьев и сестер во Христе”, уносят в “Живую Воду” деньги, золото, ценные вещи. Студенты сдавали всю стипендию. Проповедники внушили: “Скоро конец света! Сдавайте все, что есть. Лучше, если золото. Все равно на том свете деньги не нужны. У Бога есть “Божий план” для ваших денег”.

Несколько детей с нарушениями психики попали в психбольницу. Родители и педагоги начали посещать “Живую Воду”. Первое время, как и многие, были введены в заблуждение тонкими методами миссионеров, но затем пришли в ужас. Особенно сильным психовоздействиям людей подвергают в “дни закрытых дверей”. Никого из посторонних, даже родителей, в зал не пускают. Детей вводят в состояние глубокого транса и проводят массовое зомбирование, нейролингвистическое программирование и т. д. Дети, в том числе и малолетние, трясутся с посоловевшими глазами, топают ногами, прыгают, теряют сознание, падают, бьются головами об пол, хрипят, мычат, корчатся в судорогах. В то время, когда проводящий такой сеанс проповедник, надрываясь, кричит в микрофон отрывистые фразы, один-два проповедника с невозмутимым видом наблюдают за порядком в зале.

А вот один из сеансов “Чудес исцеления”, который проводил шведский миссионер Матс Полак, декан Абаканского Библейского центра “Церковь Прославления” в конференц-зале института “Сибгипромет”, который “Живая Вода” арендует у руководства за доллары. Присутствовало около 500 членов секты. Человек 35-40 выстроились в шеренгу. Заиграла музыка с барабанным боем. Шведский миссионер, буравя людей взглядом, делая пассы руками и громко крича, побежал вдоль шеренги. Люди падали один за другим. Несколько человек остались на ногах. Миссионер вернулся и стал накладывать им руки на виски и громко кричать. Люди эти тоже упали. Из лежащих одни были без движения, другие корчились и бились в судорогах, мычали, кричали. Вдруг одна молодая женщина забилась ещё сильнее и стала дико визжать, перекрывая все прочие звуки. Ассистенты миссионера вчетвером вынесли изгибающуюся в судорогах женщину в вестибюль, где она кричала и визжала ещё несколько минут”.

Читал я это, мною же у Геннадия Хаустова, старого знакомого, переживавшего тогда личную трагедию с детьми, выпрошенное письмо и чуть не с ужасом думал: Господи, да неужто всё это и впрямь так и было?!

“Вот чему западные миссионеры обучают российскую молодёжь в Абаканском Библейском центре “Церковь Прославления”, сейчас там выпускают 600 студентов в год: “Готовьтесь к последней битве! Скоро! Скоро! Город взорвётся! Нападать! Атаковать! Мы завоюем этот город, Сибирь, всю Россию! Царство Божие берется насильем!”

...В Новокузнецке родители приходили в “Живую Воду” и требовали у пастора вернуть их искалеченных детей. В ответ были цитаты из Библии.

...Доходило до того, что родители из города Междуреченска собирались ехать в Новокузнецк “отрывать голову” преподавателю Копылову, втянувшему в “Живую Воду” их детей, ставших там роботами.

...Не получив помощи от властей, родители обратились в Православную церковь. Священнослужители отнеслись к их горю сочувственно и помогли опубликовать статьи с их письмами в газетах городов Мыски и Осинники, так как редакция “Кузнецкого рабочего” не решалась на публикацию этих материалов.

...В начале января 1996-го года в православный Спасо-Преображенский собор позвонило неизвестное лицо с сообщением о заложенном в соборе взрывном устройстве. Настоятелю собора отцу Александру пришлось принимать меры по поиску взрывчатки (её не оказалось).

...Недавно приехавшие в Абаканский Центр западные бизнесмены устроили там “Международную конференцию христианских бизнесменов” под девизом “Победа в потрясениях!” Значит, западные господа готовят России ещё какие-то потрясения?

...В этом году у них намечено строительство нового здания Абаканского Центра, на 4-5 тысяч студентов.

...Правоохранительные органы трижды занимались делом о “Живой воде”, но каждый раз безрезультатно... Видимо, все дело здесь в мощной поддержке международного бизнеса и кого-то из наших властных структур.

Наш родительский комитет, не получив за три года поддержки от общественности и властей, фактически развалился. Двое умерли, остальные ушли в свое горе и больше никому не верят.

2 февраля сего года в нашем Новокузнецке состоялась “Международная христианская конференция” с участием сектантских миссионеров из Америки, Австралии, Германии, Швеции, Канады и др. стран и местных руководителей сект. Бодрые, энергичные миссионеры по телевидению обрушивались на российский патриотизм, называя его национализмом и фашизмом. Наш Новокузнецк становится одним из центров международного сектантского движения и одной из опорных баз западной программы “Евангелизация России”.

Мы называем это “ползучей Барбароссой”. Неужели мы не опомнимся?.. Неужели допустим?!”

Хорошо помню, как в тот год в аэропорту увидел одинокого ксендза в черной сутане, подошел к нему и четко, с явной иронией в голосе сказал:

— Святой отец! Я православный и я — казак. Я был в Польше и хорошо знаю, как там отбирают у верующих православные храмы и переделывают их в костёлы. Это большой грех. И всё-таки тут, в Новокузнецке, я вам предлагаю пожать друг другу руки!

И он вдруг горячо обнял меня, горько причитая:

— Брат!.. Брат!.. Цо тут творят?!

Дворец культуры Запсиба на доллары зарубежных проповедников не польстился, тут у “красного директора” Бориса Кустова вопросов не было. Но однажды и здесь прошел щедро оплаченный комбинатом семинар сайентологов, на котором с ведущими инженерами сподобился три дня с утра до вечера просидеть и я, грешный: глухая наша сибирская темнота пыталась понять, есть ли что-нибудь умное в учении одного из столпов демократии — Хаббарда?

Надо ли говорить, что во всей этой щедро приправленной коксовым газком атмосфере Новокузнецка приезд Геннадия Заволокина был не только глотком свежего воздуха, но и вспыхнувшей с новой силой надеждой: неужели, и правда что, “пришли наши”?

Несмотря на то, что в 1990 году “Литературная Россия” в двух номерах опубликовала мой большой очерк “Наши больше никогда не придут”, надежда эта не умерла во мне и сегодня: всё в руках Божьих!

И твёрдо знаю: не один я так думаю.

...Прошло с тех пор почти полтора десятка лет. Выросли эти ребята, чьи сочинения мы печатали тогда в выпуске “Огненный передел”. Сейчас им по тридцать. Самая, как говорится, пора!

Все эти годы я довольно часто бывал в Новокузнецке — в нашей чумазой “Кузне” — и видел, что происходит в этом “городе угля и стали”.

Единственное, что определённо улучшилось: воздух стал куда чище.

Потому что значительная часть производств закрыта, а многие другие дымят вполсилы. В колыбели бархатной, черной от угольной пыли “шахтёрской революции”, чем ещё недавно в городе так гордились, безработица стала привычным делом.

Ушёл из жизни настоятель Спасо-Преображенского храма отец Александр Пивоваров, главный борец против засилья чужих проповедников в Новокузнецке: легковая машина, в которой он возвращался из Кемерово с церковной старостой, неожиданно потеряла управление, перевернулась и сгорела так стремительно, что выбраться из неё никто из них не успел...

В автомобильной катастрофе погиб и Геннадий Дмитриевич Заволокин, чей образ для меня навсегда теперь связан с восторженно принимавшим его Новокузнецком.

Сектанский разбой в городе и его окрестностях попритих и ушел в подполье, где никому до него дела нет.

Но свирепствует другой разбой: окололитературный. Деляческий. Графоманский. Который, конечно же, во многом определяет дух города.

Вот статья, которую написал год назад и так и не собрался до сих пор отправить своим собратям в Кузбасс, в Кемерово.

## “Опять сам себе”, или “Присосанцы”

Очень странное, некое двойственное ощущение испытываю, начиная эту работу.

Сегодня 10 апреля, эта пора в Новокузнецке очень хорошо помнится, наплывают и воспоминания далеких теперь отсюда времен, и дней не столь давних... Наслаиваются одно на другое, подрагивают, как первое марево весеннего тепла, помаргивают и, конечно, тревожат, но тревога эта счастливая: может, примерно с таким же, недоступным нашему пониманию трепетом собираются по весне лететь на родину птицы.

А тут — собралась душа.

Сколько благодарного тепла, сколько редко высказываемой нежности накопилось в ней ко всему существу на дорогой сердцу Кузнецкой земле и ко всему вроде бы неживому, но так давно в Кузбассе одушевленному и общим невероятно тяжким трудом, и печальными общими заботами, и нечастыми радостями...

Но вместо того, чтобы обо всем этом рассказывать, объясняться, по сути, в давней и неизменной, неизлечимой любви к “стране своей молодости”, придется — да простится мне это грубоватое выражение новостроечных лет! — копать в дерьме.

Что делать: и крута гора, а миновать нельзя.

Полгода назад мне пришлось писать предисловие к сборнику рассказов бывшего шахтера, а нынче “коксохимика” с родного мне Запсиба Николая Ничика, и его одинокий голос против разобшившего новокузнецких писателей, все подчинившего исключительно коммерческим своим интересам Бориса Рахманова стал для меня, давнего патриота нашей, не однажды мною воспетой “Кузни” горьким укором: разве я сам этого не видел?

Более того: не при моем ли личном участии его карьера и начиналась?

Меня, что называется, прорвало, но, как почти тут же выяснилось, — не только меня.

Предисловие к книге Николая Ничика напечатали — спасибо, кемеровские собраты, за понимание и поддержку! — в “Круге чтения” газеты “Кузбасс”. И вот как на это тут же откликнулся в “Городском дневнике”, который он ведет в “Кузнецком рабочем”, Валерий Немиров: “В четверг наконец прочли статью Гария Немченко в “Кузбассе”, вызвавшую бурные эмоции у местных литераторов. То, что он выплеснул на страницы областной газеты, кто-то называет “чистой правдой”, кто-то “помоями”. Нас звали на собрание местных писателей — тех, кто против статейки (огромнейшего размера, между прочим). Но резону писать нам — третьим, по сути дела, лицам — об этом нет. Хотя мы знаем того человека, на котором оттоптался Немченко (и на наш взгляд оскорблений много, но ни одного факта не присутствует). И не думаем, что все обстоит именно так, как изложил Немченко. Но, повторяем, не собираемся лезть не в свои дела”.

Ну, не высший ли пилотаж иезуитства?

Хотя и мельком, и вскользь, но то, что надо — все сказано. “Смазал” походя.

Так и хочется смахнуть со своего плеча нечто, оставленное ну, прямо-таки барственной рукой... эх, ребята-ребята!

Да почему — “не свои дела”? Живете на Марсе?

Или — в другой стране, во всяком случае. Потому что жить в России, с которой Новокузнецк связан тысячами нервных окончаний, и не ощущать этой взаимозависимой боли, от которой давно уже криком кричит русская культура, — ну, как можно?

“Хотя мы знаем этого человека...”

Ещё бы не знать!

Кто ему славу создавал? Кто пестовал? Кто потворствовал?

И — почему, почему?!

Если в отделе периодики Национальной библиотеки в Москве, бывшей “Ленинки”, перелистывая страницы газет родного Новокузнецка, натыкаюсь на нижеприведенный шедевр, то там-то он известен куда раньше: ваши “лудильщики” его и создали!

“НОВОКУЗНЕЦК — ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ.

Вклад новокузнецчан в отечественную культуру получил признание. Поэт-сатирик, член Союза писателей России, директор издательства “Кузнецкая крепость”, выпустивший более ста книг стихов и прозы, краеведческих изданий, Борис Рахманов стал обладателем золотой медали Российской академии наук.

Биография и информация о его достижениях вошла в библиографический справочник “Кто есть кто” вместе с именами руководителей интеллектуальных проектов, авторов известных книг, академиков, общественных деятелей... Впрочем, знаковой эту награду Борис Рахманов не считает. Много лет возглавлявший Новокузнецкое отделение Союза писателей России, сейчас являясь его почетным председателем, он, можно сказать, открыл многих новокузнецких авторов. А издательство “Кузнецкая крепость” — своего рода знак качества.

— Мне ни за одну выпущенную книжку не стыдно, — говорит Рахманов”.

В том-то и дело, что ему не стыдно!

Чувство стыда ему чуждо, как нынче принято обозначать, “по определению”. А многим из остальных?

“Седьмая книга кузбасского поэта-сатирика” — написано на последней страничке крошечного — Господи, хорошо хоть, что так! — сборника Бориса Рахманова “Плохемы”, вышедшего в “Кузнецкой крепости” в 1999 году.

В сборничке четыре раздела один другого безвкусней и беспомощней: “Алкофемы”, в котором он неблагодарно обличает пьющих коллег, титанов, по сравнению с ним самим, — так бесконечно долго терпевших его титанов; “Зарубежное” — чтобы оценить всю скудость мысли и бездарность автора, это надо читать; “Якобы” — на нем ниже остановимся; “И др. и пр.” — на этом даже и останавливаться не стоит.

Но вот изыски из “Якобы”, посвященные нашим литературным предшественникам — русским гениям.

“Александр Сергеич Пушкин/макарроны не любил./Пил из кружки со старушкой,/а Дантес его убил”.

Как бы сказали на нынешнем жаргоне — “не хило”?

“Михаил Юрьевич Лермонтов/много понаписал интересного./Опохмелялся вермутом,/царствие ему небесное”.

Чем дальше в лес?..

“Иван Сергеевич Тургенев/стрелял по уткам из ружья./Любил севрюжные пельмени/и девок пользовал лежмя”.

Может, хватит?

Хоть есть ещё столь же хамское и о Толстом: “Лев Николаевич Толстой/был поначалу холостой./Потом возрос и возмужал/и баб окрестных обожал”.

А вы, дорогие мои земляки, полагали, что “копаться в дерьме” в начале этой статьи я употребил в переносном смысле...

Кабы!

А как же тогда, спросите, — с этим сборником “Кто есть кто”, с “руководителями интеллектуальных проектов”, “академиками”, “общественными деятелями”, с академией наук, в конце концов, отвалившей Рахманову золотую медаль?

Во Владикавказе, в издательстве “Ир” только что вышла моя книжка “Счастливая черкеска”: о моем покойном друге-осетине Ирбеке Кантемирове, народном артисте СССР, знаменитом цирковом наезднике. О Великом Джигите. Знатоке национального этикета. Хранителе горского кодекса чести.

Но в такое подлое время живем, что наряду с понятиями самыми возвышенными в текст пришлось ввести и новое, малоприличное: *присосанцы*.

Слово это Валерий Немиров прочитает, скорее всего, впервые, но неужто так-таки незнаком с самим явлением *присосанства*?

У кого-то оно — от лишних денег и желания славы, у кого-то — от болезненного комплекса неполноценности. А если — то и другое вместе?

Не знать этого сегодня даже для самого среднего журналюги, “рядового бандита пера”, как поется в известной песне “Ночкой темною...” — нехватка профессионализма. Но не только для него.

Передо мной — напечатанная в “Кузнецком рабочем” под рубрикой “Открытое письмо” большая статья начальника управления культуры Новокузнецка Михаила Маслова “О легкости в мыслях необыкновенной”, в которой в первом абзаце он заявляет: “по роду деятельности всю жизнь я занимаюсь вопросами культуры...”

И невольно думаешь: может быть, как раз это и является трагической для Новокузнецка ошибкой — такое самомнение начальника?



Тут же мне могут возразить: а как же тогда достигшие заслуженной славы коллективы, как многое другое, чем город в этом отношении славен?

Приходится вспомнить эту знаменитую фразу, над которой мы, бывало, раньше посмеивались: “Этот народ не сломить!”

И уж если с “чувством законной гордости” — ещё один штамп тех времен — наблюдаем сей факт по всей матушке-России, то почему же должны были сдать наши закаленные холодом-голодом, как только и когда только не угнетаемые чиновником сибиряки? Да где еще, где — в знаменитой на всю страну упрямой Кузне!

Где так крепка народная закваска, где характер чуть не из каждого прет, как черемша по весне.

Россия — родина парадоксов, если хотите. Многое в ней происходит не “благодаря”, а “вопреки”.

“Наша городская организация Союза писателей... на высоком уровне проводит семинары и учебу для детей, юношества и взрослых, в том числе за пределами Новокузнецка и Кемеровской области” — пишет Маслов.

Вас устраивает “уровень” приведенных выше стихов Бориса Рахманова?

А если семинары проводят другие — высокопрофессиональные и высокодуховные — люди, то впору задуматься: а как же они себя под патронажем этого беспардонного графомана чувствуют? Комфортно ли им живется? Или — безрадостно?

Любу Никонову помню ещё девятиклассницей, принесшей мне ранние стихи — ну, прямо-таки “жесткие романсы”. Любины стихи я, словно курьер, разносил потом в Москве по редакциям и чуть не на каждом литературном перекрестке громко заявлял, что она — одна из лучших русских поэтов... Но вот что грустно: когда в Новокузнецке у Любы был юбилей, то в своей “тронной” речи она сказала, что пробиваться к читателю ей никто и никогда не помогал.

В том-то и штука, что ясно обозначившаяся в последнее время криминализация литературы губит её возвышенный, горный дух и прежде всего развращает слабых — это как раз не о Любе, нет! Мы с ней если не всё, то многое понимаем одинаково: внутренняя, невидимая миру, но сокровенная связь куда прочнее внешних “телодвижений”.

Но каково ей, страдальце, в нашем грубоватом городе “угля и стали” жить “с пера”, как говаривал Александр Сергеевич Пушкин?!

Представляю, как дрогнет ещё одно женское сердечко: известного теперь критика Русланы Ляшевой, бывшей электросварщицы с нашей стройки, которую мы когда-то всей нашей редакцией уже несуществующей нынче газетенки “Металлургстрой” отправляли на факультет журналистики МГУ с трогательным письмом к вечному декану Ясену Николаевичу Засурскому.

Буквально влюбленная в прозу Яброва, о которой я тоже самого высокого мнения, она готова прощать “Кузнецкой крепости” все что угодно: лишь бы в альманахе печатали Толю.

Но разве Рахманов это делает из эстетических, подобно чуткой Руслане, соображений?

Хорошо выверенная интрига. Политика “кнута и пряника”.

Разделил и — властвует.

С умильными речами о нашем общем с ней старом друге, с которым тоже, убежден, многое одинаково понимаем и мелочи взаимно прощаем — ради неё, русской литературы ради — Руслана вручает мне привезенный ею из Новокузнецка номерок альманаха: мол, ты только посмотри, как Толя стал писать!

Но что поделаешь: старый, очень давно уже съевший в своем деле собаку профессионал, тут же гляжу, что и как пишут другие...

У Гены Емельянова было много эмоциональных выражений, которые остались в наследство нам всем, его знавшим. Одно из моих любимых — “вместо волос — перья”. Признак великого изумления, да.

Так вот, “вместо волос перья” у меня выросли, когда прочитал подборку стихов Николая Бельчегешева (Койи Белчека) и на соседней странице, на развороте, как бы в ответ — стихи Любви Арбачаковой, которые так и названы: “По следам Койи Белчека”. И то, и другое — в “переводе с шорского Бориса Рахманова”.

Вот лишь кое-что из этого трепетного разговора “мужчины и женщины”:

Он: “На мягком/Ложе/Ты, как пьяная,/Лежишь,/Моим/Золотым/Жезлом/Играешь”.

“На ложе/Пуховом/Ты уже/Без сил./Мой золотой/Жезл/Неутомимо/ Весел”.

“В красивом/Зеркале/Отражается/Много лиц,/Мысли мои/Не знают,/Свой золотой/Жезл/Куда поставлю”.

Но не слишком ли высокого мнения о своем “золотом жезле” явно подставляемый “переводчиком” шорский Ромео?

Она: “Напрасно/Твой/Золотой жезл/Играет/Мой/Волшебный цветок /Его/Не ждет”.

“Играя/Твоим золотым/Жезлом,/Что-то/Неметаллическое/Почувствовала/Вдруг”.

И вскоре — через два стиха — следует совет-просьба: “Не пей/Огненную/Водицу,/Будет/Твой/Золотой/Жезл/Болтаться/На ветру”.

И все — так многозначительно, и чуть не каждое слово — с отдельной строки.

Уж не эти ли стихи посылали в Академию наук на соискание золотой медали?

Золото к золоту — оно и понятно!

И с городским отделом культуры все ясно: хоть давно положили на тебя “жезл”, ну да ведь зато — золотой!

“Шорская защита” — конек Рахманова. Прикол, как бы сказали молодые. Или, как глобалисты сегодня, — брэнд.

Вот “Сокровенное слово”, записанное Натальей Каменевою и помещенное год назад в “Кузнецком рабочем”.

“Новокузнецкая писательская организация, по словам председателя Кемеровского областного отделения писателей юга Кузбасса и секретаря правления Союза писателей России Геннадия Косточакова, является правопреемником образовавшейся в 1962 году Кемеровской областной писательской организации, в отличие от вновь образованного Союза писателей Кузбасса”.

Прочитал и сначала рассмеялся: не смешите “волшебный цветок”, ребята — с каких это пирогов?

А потом, потом...

Ну, кто такой, и действительно, там, “на севере Кузбасса”, Владимир Мазаев? “Жалкая и ничтожная личность” (из словаря Гены Емельянова).

Нет, ну, правда?

Есть ли хоть какой-то намек на его презренное имя в этой книге-то: “Кто есть кто”? Нету! А золотая медаль академии наук? Да в жизни не видать ему этой медали!

Скрипит себе потихоньку и скрипит перышком уже какое десятилетие, молчун этакий! А толку?..

А кто такой, если хорошенько приглядеться, тот же Виктор Баянов? А Геннадий Юров?.. А Бурмистров Борис? Такая же темнота! А Гержидович? Тайга глухая! Недаром же в ней там и живет. А...

И сколько ещё не только мне дорогих имен, сколько беззаветных и терпеливых, сколько самоотверженных тружеников можно было бы тут ещё перечислить! Сколько прошедших проверку подлым временем бессребреников высшей пробы — должны же быть на Руси и такие?

И — есть.

Но как же все вместе вы позволили сесть себе на шею этому проходимцу... мы!

Потому что меня-то он первого и *огорготал*: есть такое старинное словечко из лексикона родной моей станицы.

Но, может, пора бы и честь знать?

Не самому ему, нет: тут-то о ней и речи быть не может, о чести.

Взываю к его защитникам и пропагандистам: и в той или иной форме получающим за это большую или малую мзду, и — попросту обманутым по доверчивости, незнанию либо неведению.

Интуицией старого волка чую, как скрипят уже, скрипят подмазанные таежными снадобьями из горношорской тайги столичные перья, как отрабатывают в “белокаменной” рахмановскую “предоплату” из тех средств, которыми он когда-то обещал осчастливить обездоленных в полунищей провинции литераторов...

Но сколько, милые мои, можно терпеть?

Сам тоже — не знающий языка оригинала переводчик, и сколько мне пришлось преодолеть, сколько перечитать, сколько, что называется, перелопатить, и сколько переварить и осмыслить, чтобы достойно помочь молодой братской литературе: адыгейской. Роман Юнуса Чуюко “Сказание о Железном Волке”, о котором часто шутливо говорю, что появлением своим он обязан нашей Кузне, где давно привыкли иметь дело с железом, с благожелательнейшим предисловием Валентина Распутина в свое время опубликовала “Роман-газета”: оба мы с Юнусом были удостоены премии “Образ”. Сегодня он — Народный писатель Республики Адыгея, о его творчестве написаны монографии, защищены докторские диссертации.

Два года назад в Адыгее вышла моя книжка рассказов “Газыри”: о взаимном влиянии, о взаимопроникновении соседних культур... Но где же все это в описанном выше случае с двумя “обласканными” Рахмановым шорскими поэтами — Койей Белчком и Любовью Арбачаковой?

Да ведь не помощь это, а чистой воды компрометация. Услуга из разряда медвежьих.

В самом конце своей книжечки “Плохем”, там, где обозначаются выходные данные и ответственные за выпуск, под выделенным шрифтом покрупнее “Редактор” кокетливо обозначено курсивом: “опять сам себе”.

Сам пишет, сам себя редактирует, сам себя издает, сам себе гонорары выписывает...

Ну, и — соответственно — сам себе покупает за труд сей тяжкий награды: нынче и-их! Были бы деньги.

Когда-то при больших писательских организациях были должности завхозов, и занимали их как правило беспросветные графоманы, верой и правдой служившие поэтам и писателям с членским билетом Союза, для них — небожителям...

Иногда эти небожители спускались на землю, от щедрот своих поправляли всем миром бездарные завхозовские стихи или бездарную его прозу и раз в пять, а то и — раз в десять лет издавали коллективное свое творчество под фамилией страдальца: кормильца своего и поильца.

Но времена круто изменились.

Кормильцами и поильцами сделались сами профессиональные литераторы, а все гонорары и вся слава — штатному завхозу, который в зависимости от местонахождения его единоличной кормушки и степени собственной наглости называет себя то почетным председателем, как в случае с Рахмановым, а то и — Председателем с большой буквы...

И так оно теперь по всей матушке-России.

*Окончание следует.*

Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/sib/2010/10/ne14.html>

## **КАЗАКИ И ПИГМЕИ\***

\* Окончание. Начало см.: № 9, 2010.

### **ВОСПОМИНАНИЕ О ДРУГЕ-ТИГРОЛОВЕ В “ГОД ТИГРА”**

В торопливости жизни мы часто забываем об этой, напетой, наговоренной, намоленной предками высокой области православного духа, освятившего и вобравшего в себя в том числе и некогда приземлённый, языческий опыт, который зовём простонародным. Давно они слиты в нас воедино, давно целостны, и это наш незримый, невидимый остальному миру оберег, спасающий нас в трагические для отечества дни, как спасали молебны перед иконой Казанской Божией Матери в сорок первом — под Москвой, в сорок втором — под Сталинградом, в сорок третьем — на Прохоровском поле под Белгородом...

Но сегодня идёт война иного рода: растление русского сознания, обработка некогда нестигаемого характера, нанесение психологического увечья.

Столькое, казалось бы, в этом смысле растлителями человеческих душ и корректировщиками сознания достигнуто! И вдруг они снова и снова начинают ощущать мощное глубинное шевеление разбуженного никогда не пресекавшимся родством с праотцами русского духа... и начинают уже не только инстинктом ощущать, какие мощные пласты его не только таятся и в нашем подсознании, и в душе... Не только в нас, но высоко над нами над всеми — им становится не по себе...

Но каково нам-то ежедневно, ежечасно, ежеминутно испытывать дискомфорт — терпеть чужое насилие?!

Накануне нового, 2010 года по все каналам шла вакханалия эстрадных “звёзд”... И тут и там были кадры общего застолья: кто только во весь экран нам не улыбался, кто только поднятым бокалом не приветствовал, кто только не махал поднятой ладошкой либо, на футбольный манер, не показывал “по локоть”...

Щедрой рекою лилось шампанское, и чуть ли не вся страна, во всяком случае — прекрасная её половина, жадно вглядывалась в лица кумиров: действительно не постарели? Или в очередной раз “подтянулись”?

Шло торжество разнузданного веселья и небывалой дотоле распушенности, откровенной ещё и потому, что телезрителей, хочешь не хочешь, давно уже сделали свидетелями и соглядатаями не только их личной жизни, но и того интимного, что ещё недавно оставалось для нас за семью печатями. Впустили не только на кухню, но и в спальню... Пир во время чумы?

Я как раз получил двенадцатый номер журнала “Дружба народов” с великолепной статьёй заместителя главного редактора Леонида Тер-Акопяна о моём покойном

друге Нальбие Куёке, талантливом адыгейском поэте и прозаике, знатоке народного творчества и черкесского кодекса чести — адыге хабзэ, за школьный учебник о котором незадолго до смерти он получил специальную премию бывшего президента Республики Адыгея Хазрета Совмена.

Статья Тер-Акопяна называлась “...И остаётся свет. Реальность мифа”. Прочитал её и опять вспомнил, как два-три месяца назад сидели у него в крошечном кабинетике, который они делят с главным редактором журнала Александром Эбаноидзе — таком крошечном, что за единственным, одним на двоих, столом с допотопным телефоном находиться можно только попеременно.

— Открыть для себя целый пласт неизвестной до этого культуры — конечно же, это настоящее счастье, — характерным своим, тихоньким голосом задумчиво говорил Леонид. — Но трудное это и горькое счастье, ты это знаешь. Нальбий был и тончайший лирик, и глубокий философ. Его образные иносказания, конечно же, требуют сосредоточения на них... вообще большой внутренней работы. Кто из наших читателей нынче готов её проделать?.. И кто потом прочитает эту мою статью о нём — ведь я должен его уровню соответствовать! Иногда вдруг одолевает такая печаль: не зря ли мы тратим столько сил на то дело, которое уже никому не пригодится?

Тщедушный, ну, прямо-таки слабенький с виду, явно небогатырского здоровья да ещё с постоянным облачком сигаретного дымка над собой, Тер-Акопян давно уже сделался для тех, кто его знает, неоспоримым доказательством, что внешность обманчива: статьи Леонида всегда были заряжены необычайной силой духа.

Верен себе он остался и в этот раз: статья о Нальбии была и глубокой, и трогательной.

Но в двенадцатом номере я обнаружил не только этот новогодний подарок.

Только что ради краткости убрал из черновика характеристику проникновенного литературоведческого эссе Леонида Тер-Акопяна: сжато, мол, как стальная пружина, и наполнено, как тугое зерно, вот-вот неистребимо готовое отдать миру животворный росток. Но во многом похожее определение вполне подойдет и для необычайно ёмкой статьи доктора истории Владимира Дегоева “Воля к правде против диктатуры суррогатов”...

Несколько лет назад на осенней книжной выставке он подарил мне свой объёмистый труд “Большая игра на Кавказе”, который я не только тут же запоем, что называется, прочитал, но и частенько потом к нему возвращался: давно не встречал такого честного и масштабного исследования не только о родных своих краях, но и о современной России, и о мире вообще, где давно уже идёт “большая игра” без правил. Написал потом об этой книге в “чеченском” рассказе “Лезгинка для смертельно больных”, а тут вдруг сразу же понял, что этот необычайно талантливый аналитик, несмотря на горское своё происхождение, он осетин, ну, прямо-таки без спросу, ну — чуть ли не ногой, снова открывает дверь в мою прозу.

Вдумайтесь-ка! Вникните: “Селекционная доктрина наших доблестных элит привела к революции ценностей в России. Что было ничем, то стало всем. Чего прежде стыдились, тем нынче гордятся. Кого раньше брезгливо сторонились, перед тем сегодня заискивают. Вкусовые предпочтения и поведенческие модели, некогда

обозначившиеся непереводаемым русским словом “пошлость”, теперь — эталоны изысканности. У людей, вещей, идей поменялись опознавательные знаки. Торжество суррогатов приняло тотальный размах во всем — в политике, экономике, социальных отношениях, культуре, этике. Пространство подлинности катастрофически сузилось.

Нам говорят: “Хватит ныть, рефлексировать, ностальгировать! За работу! На дворе XXI век — век доу-джонсов, баррелей, кубометров, трубокилометров, инвестиций, инноваций, Интернета и т.д. Что может быть подлиннее?”

Вроде все так. Вот только есть смутное подозрение, что подлинность — категория куда более сложная, чем вещи, которые можно измерить, пощупать, купить или продать. И куда более необходимая, когда её остро не хватает”.

И вот глядел я в телевизор и, грустно посмеиваясь, думал: не тот ли самый показывают нам “видеоряд”, о котором так сдержанно, но предупреждающе-грозно размышляет историк и философ Владимир Дегоев? Не это ли и есть та бравая похоронная команда, которая без устали забрасывает нашей же землей такие ещё дорогие недавно понятия, как скромность, непорочность, порядочность, целомудрие, благородство... да что там, что там! Сколько ещё пока остаётся удивительных слов, понятие о которых скоро попросту исчезнет из сознания наших соотечественников, жителей многонациональной страны-страдалицы!

Знакомые всё лица, как говорится!

Та же Тёткина, чей пыл неумной хабалки сам по себе давно стал пародией на казачью песню... А что выходит, когда её саму пародируют?

А вот...

Но не пора ли тут вспомнить старую черкесскую поговорку: хочешь сказать правду — держи наготове лучшего скакуна... ох уж эта не дающая мне нормального житья ассоциативная проза!

Тут же приходит в голову, что “лучший скакун” — это умнейший “араб” Асуан, переживший своего знаменитого наездника, Джигита и Рыцаря, Ирбека Кантемирова, с которым нас связывала многолетняя дружба... Однажды я нелестно отозвался при нём об Иосифе Кобзоне, и он, мой старший товарищ и во многом — как бы наставник, сдержанно сказал: “Не говори так. Ты его мало знаешь. И мало знаешь артистический мир: в нём есть, скажу тебе, такие крокодилы!.. По сравнению с ними Иосиф — сама порядочность и сама щедрость”.

Уважим светлую память Ирбека? В крещении — Георгия, которого близкие друзья звали Юрой.

Но твёрдо знаю, что из всех сибирских городов, в которых успела побывать джигитская группа “Али-Бек”, больше всех остальных он любил два близко расположенных друг от дружки: Новокузнецк и Прокопьевск. Кузню и Прокопу... А ведь за Кузню я нынче и заступаюсь.

Так вот, было это во времена “великого бартера”, вспыхнувшего в Кузбассе после “шахтёрской революции” не менее ярко, чем прославленная “золотая лихорадка” у

“штатников”, но куда более кратковременного и окончившегося, конечно, куда печальней...

Ко дню, о котором речь, Кобзон уже успел объявить всей, разумеется, стране о том, что перестаёт выступать с концертами в Москве и перестаёт гастролировать. По каким-то делам я зашёл к Анатолию Смолянинову, бывшему тогда заместителем генерального “Кузнецкугля”, в те минуты, когда у него сидел директор Новокузнецкой филармонии, и разговор шел о том, чтобы на день Шахтёра, который всегда широко отмечали в нашей Кузне, пригласить Кобзона с группой московских звёзд: он сам с ними и договорится.

— Но ведь он теперь, кажется... — Начал было я, но директор филармонии, с виду — этакий лев с седою гривой, вальяжно и чуть насмешливо перебил меня:

— Иосиф Давыдович сам оплачивает авиарейс. Акция чисто благотворительная. Это, надеюсь, не возбраняется?

И мне пришлось рассыпаться в совершенно искренних извинениях: да что вы, что вы, мол!.. Не только не возбраняется — великое ему за это спасибо!

Но я ли — не старый (со шрамами на физиономии, так и хочется горько пошутить) массовик-затейник?

— Анатолий Георгиевич! — обратился к хозяину кабинета. — С год назад Борис Емельянов подарил мне диск, который выпустил с твоей братской помощью... было дело?

Как обаятельно Смолянинов мог улыбаться!

— Было, было, — подтвердил коротко. И чисто по-мальчишески переспросил. — А что, плохой диск?

И я тут же “подсёк” его:

— И я о том же — великолепный!.. Так вот, давай попросим твоего гостя, чтобы Иосиф Давыдович взял сюда и Емельянова. Уж коли целый самолёт, места хватит. А, представляешь, как Борис будет счастлив хоть на денёк вернуться в Новокузнецк?

Два слова о Борисе: познакомились в начале шестидесятых, когда у нас только что открыли молодёжное кафе “Юность”, просторную новомодную “стекляшку”, возле которой по вечерам начиналось столпотворение. В составе небольшого джазового оркестрика Борис Емельянов играл на фортепиано и пел первые свои авторские песни, с которыми его всё чаще вызывали на бис... Потом он засобирался в Москву.

А почему бы нет, если сибирскую дорожку ещё когда проложил туда его знаменитый тёзка Борис Штоколов, если место под столичным солнышком как раз в эти годы “оттаптывал” себе наш Владимир Шубарин — как красиво оттаптывал, как изящно, как здорово!



В Москве в Доме литераторов, в ЦДЛ, мне потом пришлось знакомить Бориса с поэтами-песенниками, и музыка его вскоре робко зазвучала сперва на столичных подмостках, а потом его песни запели на всесоюзном радио Валентина Толкунова, Вахтанг Кикабидзе... “Носики-курносики”, может, помните?

В смутные 90-ые начала тревожить душу вроде бы простенькая, но такая проникновенная мелодия с понятными очень многим словами: “Сам себя считаю городским теперь я, / здесь моя работа, здесь мои друзья. / Но ночами снится, снится мне деревня: / отпускать меня не хочет родина моя!”

Самого Бориса, как и меня, не отпускала наша чумазая Кузня: сколько мы по этому поводу вздыхали и по телефону, и при нечастых встречах... Но вот мне повезло. В трудный час мне протянуло руку моё прошлое, об этом уже приходилось с благодарностью писать не однажды. С подачи старых товарищей позвонил домой незнакомый до того “красный директор” Запсиба Борис Кустов, сказал дружелюбно и чуть насмешливо: “Чего там торчишь в Москве? Какие там могут быть атаманы?.. Разве не знаешь, что все они тут, в Сибири? Прилетай — дело есть!”

И который год я работал “инженером лаборатории социологии” на родном комбинате и готовил спецвыпуски “Роман-газеты”... И который год меня съедала невольная вина перед теми, у кого такой возможности не было: уйти под надежную защиту старого сибирского братства.

— Номер Бориса у тебя есть? — как о деле решенном спросил теперь Смолянинов.

И я шагнул к тому краю стола, где стояли многочисленные его телефоны.

Как он там обрадовался, в Москве! И как завздохал и заменжевался: в Карелии ждёт сестра, уже взял билет, завтра утром поезд...

— Завтра у тебя самолёт, Боря! — пришлось категорически, как в лучшие времена, отрезать. — Запиши время и номер рейса: Иосифу Давыдовичу сообщат.

На концерт московских “звёзд” в нашем цирке мне дали в “Кузнецкугле” два десятка пригласительных билетов во второй ряд, но все их отдал авторам “Лавы”: хоть как-то поощрить собратьев за их, считай, бескорыстный труд — выплату гонорара ганичевская “Роман-газета” безбожно зажимала. Сам, старый заднескамеечник, поднялся на верхний ряд, но московский опыт писательских съездов и луженая глотка сделали своё дело: когда Борис негромко, но с такой душой спел это, “Сам себя считаю...”, заорал так, что он в мою сторону сперва только глянул, а потом рука его дернулась в дополнительном рывке: все-таки увидал!.. И тут дошло вдруг до многих из остальных: поднялся сплошной молодёжный ряд и стал, как это у них принято теперь, раскачиваться из стороны в сторону с радостным криком: “Наш!.. Наш!.. Наш!”

Разве малого, скажите мне, это стоит?

Улетали москвичи сразу после концерта, и я не стал даже пробиваться к Борису через толпу: всё, подумал, понимаем с ним одинаково, чего там!

Но рано утром меня разбудили длинные звонки “межгорода”.

— Ты что, ещё не ложишься спать? — спросил, когда понял, что звонит Емельянов.

— Пробовал, — сказал он там. — Но не могу уснуть...

— “Отпускать меня не хочет родина моя”?

— Понимаешь, — говорил он расстроено, — мне они не заплатили ни копейки!

— Так ведь никому не заплатили, как понимаю, — пробовал втолковать ему спросонок. — Концерт-то благотворительный!

Он там усмехнулся:

— Я думал, что ты только пишешь сказки. А ты в них, оказывается, и сам веришь...

— То есть, Боря?! Объясни, объясни...

— Мы ещё не взлетели, как всем раздали именные конверты, и все стали их тут же открывать и перекрикиваться: сколько тебе?.. А тебе?! И очень приличные деньги, скажу тебе. У всех. Не говоря уже об Иосифе: о его гонораре шепотом. И только я сидел сиротой...

Я только что-то такое промямлил, а он всё пытался мне втолковать:

— Дело, как понимаешь, не в деньгах. Но когда после стольких унижений в Москве тебя унижают ещё и в родном городе...

— Не траться там! — попросил его. — Позвони завтра.

Утром первым делом нашел директора филармонии, и тот на голубом глазу, явно потешаясь надо мною, сказал:

— Дорогой Г. Л.! Кто приглашает, тот и платит. А Емельянова пригласили вы... что ж вы не постарались?

Бросился в “Кузнецкуголь”, но Смолянинов улетел в Москву... Толя, Толя!

Сколько добрых дел за ним числилось! Не говорю о его патронаже над нашим “Металлургом”, переживавшим тогда не лучшие времена. Тут случай вроде объяснимый: не только страстный болельщик, но сам вполне приличный нападающий — прямо-таки вижу его “при полном боевом”, в шлеме и с клюшкой: когда шахтёрские начальники выходили поразмяться в дружеской встрече с руководителями новокузнецкой металлургии. Но были и диски, как в случае с Борисом, и деньги местным писателям на издание книг, и — художникам на альбомы и выставки.

Сколько потом скорбно опустили голову, когда он улетел туда, откуда ещё никто не вернулся. На вертолете марки “Робинзон”, который имеет странную, как будто специально для Кузбасса приготовленную особенность: тут же произвольно взлетать с пассажиром, как только пилот на минутку оставит кабину...

И вот смотрел я на этот, из года в год один и то же, “видеоряд”... Как во Франции некогда академики — “бессмертные”? Но для нас, исповедующих теперь “общечеловеческие ценности”, видимо, и таких “бессмертных” достаточно...

Ясно, что вспоминаю это сейчас, сидя за компьютером и пытаюсь в единое соединить концы и начала, но как не рассказать и эту маленькую историю, которую узнал от солиста “Кубанского казачьего хора” Анатолия Лизвинского: светлая тебе, Толя, память и царство Небесное!

Анатолий Лизвинский исполнял “заглавную” для хора, знаковую песню: казачий гимн “Ой, Кубань, ты наша Родина!” В голосе его слышалась такая природная сила и звучало такое достоинство, что у слушателей ознобляло затылок. И Толя в конце концов стал заложником своего голоса и своего харизматического характера...

— Было ещё в советское время, — рассказывал Лизвинский, когда мы стояли у “кубанского” автобуса после выступления хора в зале приемов храма Христа Спасителя. — Мы с Иосифом должны были вместе петь “Широка страна моя родная...” Открывать концерт. Или в Новосибирске, или в Екатеринбурге, не помню. Вот утром стучу к нему в номер: когда будем репетировать?.. А он: зачем время тратить? Ты что — слов не знаешь?.. Выходим на концерте, запели — он на меня как глянет!.. Но что делать? Всегда так пел. Там местное телевидение снимало, гляжу потом: в кадре он шевелит губами, а за кадром мой голос — за двоих... В следующий раз в общем выступлении свели с той же песней, он мне первый говорит: когда перед концертом соберемся? Часы сверить?.. На пленке потом та же картина. А в третий раз с нашим хором съехались, он у ребят спрашивает: что это вашего бугая не видать? Его не будет, — отвечают. — Приболел! И он перекрестился: слава Богу!

Несколько лет назад хор должен был выступать в Кремлевском дворце в присутствии первых лиц государства, и перед этим с “инспекторской поверкой” в Краснодар приехал Никита Михалков. Он и предложил заменить Лизвинского другим солистом.

— Извини, что наступаю на больную мозоль, — сказал Толе, когда потом в Краснодаре увиделись. — Был не в форме?

— Как раз наоборот! — воскликнул Лизвинский. — На репетиции выложился — у Никиты заблестели глаза. А потом говорит Захарченко: давай подумаем, кем заменим?.. Эта мощь может и не понравиться. Уж больно в ней слышны отголоски некой грозной силы... Там это, говорит, лишнее, — пойми!

Что ж: кому, как не потомку первых царских постельничих уметь помягче стелить!

Зачем, и правда что, нынешним хозяевам страны, которую они продолжают разорять и разваливать, отголоски народной “Дубинушки”?

Да и потом, потом... Куда вам, ребятки, со свиным-то рылом в калашный ряд, за которым давно уже только свои пацаны и собрались?!

И вот глядел я на всех этих пацанов, которые благодаря засевающим всюду жучкам-“филармонистам” жируют и в центре, и на окраинах, — глядел и грустно посмеивался. В семидесятых в Новокузнецке упал на сцене городского театра явно

выпивший Владимир Высоцкий, и партийная власть тут же, при всех, громко распорядилась позвать милицию. Но её опередила “скорая помощь”. Дежурный врач определил чуть ли не остановку сердца, певца увезли сначала в кардиологию “первой горбольницы” и только потом — в гостиничный номер. Когда утром его спасители пришли после смены проведать болящего, тот попросил их съездить домой за магнитофоном, и пел им потом день до вечера: теперь эти записанные тогда песни каждый год звучат в мае на фестивале Высоцкого в нашем непокорном Новокузнецке... были люди? А, может быть, времена — тоже?

Этот вот смуглый, из “видеоряда”, патлатый господин согласился приехать в Кузню, рассказывали, только тогда, когда за концерт ему твёрдо пообещали заплатить рельсами, которые выпускает Кузнецкий комбинат... что он, положил их потом в собственной квартире, чтобы добираться до постели любимой?.. А любимая потом за свой отдельный проезд заломила такую цену!

Когда-то, если наш “Металлург” выигрывал, предположим, у московского “Спартак”, а то, случалось и такое, у ЦСКА, сталь на обоих громадных комбинатах — Кузнецком и Западно-Сибирском — шла только первым сортом, а уголёк от шахт не успевали вывозить: такой победный воцарялся в городе дух!

Неужели им нынче нарочно платят такие деньги за наш повес головы?!

За этот державу объяввший оскорбительный, якобы “юмористический” морок?

Часто вспоминаю костерок с кипящей над ним ухой на сибирской речке Чульман под Нерюнгри. Прилетели туда после выездного пленума по национальным литературам в Якутске, а поскольку такие встречи тоже стали теперь не часты — летают одни и те же, кто привык в рот литературному начальству заглядывать — сидевшие вокруг огонька особенно были рады друг дружке.

Тогда-то и спросил Анатолия Буйлова, человека очень редкой профессии — тигролова: а всё-таки, мол. Ну, как ты их — считай, голыми руками?

Он рассмеялся:

— Пожалуй, больше — ногами. Руки — это в последнюю очередь. А сперва бежишь за ним и бежишь. День, два, три... пять дней. За самым сильным — неделю. Больше всё-таки редко. А когда он окончательно выдохся...

— Он выдохся!.. А ты?.. Все, кто за ним бежал?

— Вот это главное: сохранить дыхание. Тут большого ума не надо...

— Если бы только так, тигроловов было бы куда больше, чем тех же эстрадных звёзд...

— Не скажи: сын вернулся из армии — курит, — стал рассказывать Анатолий. — Вырвал у него сигарету: ты что?.. Никто в роду не курил. А собираешься со мною в тайгу. Кто тебя такого возьмёт? И кто потом возьмёт твоего сына, если его даст тебе господь... погубишь труды стольких поколений... всей нашей родовой, считай!

— Бросил?

— Ходит теперь со мной, — сказал Анатолий.

А я невольно вздохнул:

— Всё-таки это здорово: бежать за ним и бежать...

И он опять рассмеялся:

— Не скажи! Жизнь, считай, проходит, а ты всё бежишь... ничего другого не замечаешь: или след, или — рыжее пятно впереди. Вот ты об эстрадных звёздах... Ещё в молодости, когда в Москву приезжали запросто. Позвали на какое-то совещание молодых, живу в гостинице “Юность”. Спустился вечером в ресторан поужинать, подходит молодая женщина: у вас свободно?.. Да, говорю, пожалуйста, — присаживайтесь. И продолжаю есть — торопился. А она смотрит на меня таким, знаешь, долгим взглядом: неужели не узнаете?.. У меня вилка замерла в руке: стыдно, отвечаю, но нет — не узнаю... А где мы с вами могли? А она: неужели ни разу не видели меня по телевизору, я — такая-то! Нет, отвечаю, не видал. И песни мои не слышали? Да как-то так, винюся, вышло: не слышал. И фамилию не слышали?.. Да вот тоже, отвечаю: впервые! Противный! — она говорит. Выпьете со мной?.. Я не пью. Вас дама угощает!.. К сожалению, в моём положении это не имеет значения... Долго рассказывать, но она одна тогда так надралась. Смотрит на меня и размазывает слезы: вы, и в самом деле, никогда обо мне не слышали?.. Или разыгрываете меня, а я, дуручка, поверила?! Извинился, поднялся на этаж позвонить, а когда спустился обратно — пообещал не бросить её — она уже лыка, что называется... Звезда. Еле понял: домой просит проводить. Сели в такси, и тут она совершила очередную ошибку. Спрашивает у водителя: неужели ты тоже меня не знаешь?.. А он, видать, был не в духе: если я всех буду знать!.. Хам! — она говорит. Еле уговорил его нас не высаживать. Но за “хама” он ей всё-таки отомстил. Жестоко, надо сказать. Пробок тогда практически не было, но впереди какой-то ремонт, ещё что-то. А ехать нам на окраину, в спальный район. Она таксиста просит: не мог бы к тротуару подъехать? Мне надо за угол. А он: ты что, не видишь?.. Оно и правда: ни слева, ни справа. Даже дверцы не открыть, попали в гущу машин. Она говорит: придется мне в салоне пописать!.. А он ей: только попробуй!.. Вон у тебя сумочка из хорошей кожи, наверняка не протечет. В неё и давай. Она говорит: а что?.. Это мысль! Только вытащу французский парфюм... говорит потом: ты прости меня, тигролов! Вот он меня не поймёт, водила, а ты наверняка поймёшь... Да что ж тут, говорю, дело житейское. Только и ты теперь небось поняла, насколько оно в тайге всё проще и легче... И смех, и грех!

Мужская наша кампания, сидевшая вокруг костерка, дружелюбно похохатывала, а Толя сказал почти жалостно:

— Часто вспоминаю. И всё думаю: вот ведь какая отравка, а?.. Мирская слава.

Факт достаточно любопытный. У некоторых народов Северного Кавказа, в том числе у черкесов и абазин, об участнике дальнего набега некогда уважительно говаривали: “ходивший за именем”... А чем как не беспрекословным желанием известности продиктовано здесь стародавнее присловье: “Будь первым — за моим плечом!”

Но способы достижения славы всегда были ограничены строгим “кодексом чести”. Это нынче пошла насаждаемая везде и всюду игра без правил. Под бесконечные

разговоры о “толерантности” спокойное, естественное взаимопроникновение культур подменено транснациональным духовным разбоем: злым, агрессивным, захватническим.

На том, давнем из нынешних стремительных дней, концерте, проходившем во Дворце культуры Запсиба, Заволокин сочувственно предупреждал сибирских своих земляков о грядущей “приватизации” комбината. Нынче приватизировано всё и вся. Всюду в России.

Кроме главного: непобедимого её народного духа. Есть нам за что сражаться, есть. Есть ещё что беречь.

Один исторический парадокс, который вот уже несколько лет пытаюсь осмыслить сам и к осмыслению которого настойчиво призываю неравнодушных соотечественников... Многие и многие из нас не однажды наблюдали по телевидению за минутами славы знаменитого конструктора автомата АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова. Волею обстоятельств, поскольку был “литературным записчиком” его книги “От чужого порога до Спасских ворот”, многое из этого я видел вблизи, а литературной составляющей общей славы Конструктора, как бы там ни было, сам способствовал.

К стыду своему я, профессиональный писатель, только потом узнал, что первый “автомат Калашникова” появился на свет на полтора столетия раньше. Не в Ижевске, уже и в то время слывшем одним из “русских арсеналов”, но — в Петербурге, бывшем в то блистательное время центром жизни духовной.

Здесь в 1841 году вышел роман недавнего сибиряка, иркутянина Ивана Тимофеевича Калашникова под названием: “Автомат”.

И кто был главным его героем? Честный петербургский чиновник, тоже, как и сам автор, выходец из провинциального Иркутска. Когда его маленький сын лежит при смерти, и им с женой так необходимы деньги на лекарство, могущее их крошку спасти, он категорически отказывается от взятки, которую принесли ему от влиятельной княгини... переиздать бы нынче этот роман!

Роман-предупреждение, если хотите.

“Итак, — говорил профессор, — нет более сомнения, что человек есть автомат. Великие учителя Германии наконец открыли глаза слепому человечеству. Отныне обязанностью человека должно быть наслаждение, целью его действий земное блаженство, его собственное “я”. Прочь добродетель, любовь к ближнему, великодушие. Нам нечего думать о других: жизнь нам дана для нас”.

А вот она — русская альтернатива: “Если кто не слышит внутреннего голоса, который говорит весьма ясно и понятно, что живущий в нас дух есть нечто совершенно отличное от грубой оболочки, если не слышит голос всего человечества, которое ищет здесь цели, сгорает тщетными желаниями определить своё назначение, разрешить загадку здешнего бытия и ни в чем земном не находит себе удовлетворения. Если, говорю, кто бессмысленно отрывает одну ветку от великого древа познаний и думает определить по ней свойство целого. Немудрено, что не находит себе ответа и блуждает как слепец. Одна идея бессмертия держит

порядок общественного устройства, с которым сопряжено не только развитие умственных сил человека, но и само существование его”.

Не надо полагать, что сам герой “Автомата”, Евгений — наивное, прекраснородушное дитя. Он — доброволец войны 1812 года, участник Бородинского сражения, в котором потерял своего земляка и верного товарища.

“Евгений с душою, отягченную думами, почти механически пошел вслед за Бурцовым, утомленный трудами дня, изнуренный раною и потерей крови и пораженный смертью друга. На берегах войны Бурцов зарыл тело Матвея Петровича. Некогда было ставить памятника. Ничто не служило напоминанием, что тут схоронено сердце, любившее отечество. Сокрыт человек, умерший за спасение своих собратий. На следующую весну могила заросла травой, покрылась цветами — и любопытный путешественник, может быть, обозревая поле битвы, попирает её своими ногами. Ни история, ни предания не сохраняют имени, ничем не заметного в толпе многих. Ни современники не знали, ни потомки не будут знать не только затерянной могилы, но и самого существования безвестного защитника отчизны.

Такова-то судьба воина, судьба, служащая образцом великого святого самоотвержения!”

Тоже одно из полузабытых, уже почти окончательно стертых маркигантами, предательски ударившими в спину воинам, слов: самоотвержение.

Не знаю, по-прежнему ли бежит и бежит за тиграми Анатолий Ларионович Буйлов или в многотрудном деле его сменил-таки сын...

Но на моём рабочем столе всегда стоит небольшая фотография: трое амурских казаков в полевой форме, с шашками. Толя со своими товарищами-тигроловами.

А рядом с компьютером лежит сейчас его давний роман “Большое кочевье”: о том, как русский мальчик, полусирота, подружился со старым эвенком, научившим его древним премудростям охоты и оленьей пастьбы. О том, как он перенял обычай и перенял мастерство соседнего народа, сделавшего его своим.

Очень чистая, здоровая духом книга, так нынче необходимая: особенно тем, кто только начинает своё “большое кочевье” в нашем непростом мире — ведь все мы, что там ни говори, кочевники на нашей теплой, если даже речь идёт о тундре, всё ещё зеленой земле...

И ещё: обещал вернуться на первую печку в доменном цехе, но на этот раз придётся ограничить себя гостеваньем у старшего горнового Олега Харламова дома. Просто не могли не заглянуть к ним, это стала как бы традиция, тем более, что на этот раз в Новокузнецке были с женой, укорявшей меня чуть ли не в эгоизме: вы, мол, с Олегом около “печки” встречаетесь, а разве мне не хочется на их ребят поглядеть да с Любой поговорить?..

И вот пока они о том-сём судачили после недолгого, но такого дружеского застолья, Олег настраивал видеомагнитофон, рылся в кассетах, а после вдруг всех нас заторопил:

— Давайте, давайте, тут коротенькая сценка... кто ж вам будет в огне снимать?

— В аду, в аду! — тут же взялась подправлять Люба.

Литейка в багровом пламени... То, о чём обычно: мол, Крым в дыму.

И — одинокая, в искрах и сиянии над ней, фигура горнового, вполоборота дернувшего головой.

— Хотели, чтобы морду... лицо видать, — прокомментировал Олег. — А он послал...

— Кто, кто это?

— Шиз! — бросила Люба почти с презрением.

— Коммерсант наш, — хмыкнул Олег. — Эдик Хомутов. Вернулся-таки в бригаду...

— Не повезло? — я посочувствовал. — Разорился?

— Да там у него как раз! — вскинул руки Олег. — Душа не на месте, говорит...

И Люба опять за своё:

— У-у, пироманы!.. Хоть бы один нормальный, все порченые. Что с них взять?

— Можешь ещё разок? — попросил Олега.

Вновь было то же самое, короткое: Крым в дыму — дым в Крыму.

То, что длится для них, “пироманов несчастных”, долгие годы.

А мне за всем этим виделся такой ясный, такой чистый свет...

## “МУХАДЖИРЫ” РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Есть такие люди, пока, слава Богу, — есть. Подполковник медицинской службы в отставке, бывший хирург. Истый книголюб, настоящий библиофил, и правда что — “ходячая энциклопедия”. И — отчаянный меломан, сам с хорошим голосом. Ещё недавно был заведующим отделением в майкопском военном госпитале, а вечерами пел под “Русскую удаль”, под уникальный, это и в самом деле так, оркестр русских народных инструментов. Потому-то, когда ему исполнилось семьдесят пять, главный дирижер “Русской удалы” Анатолий Шипитько решил посвятить Ивану Тихоновичу Болдыреву концерт, в котором тот должен был солировать... Эх, как Иван Тихонович со всеми своими многочисленными наградами, во всей нестареющей воинской красе, с мощным своим, так и не покинувшим его, не ослабевшим басом, прошелся потом, оренбургский казак, “вдоль по Питерской”! Как погулял по залу вместе с “двенадцатью разбойниками”



и атаманом их Кудеяром, который у всех на глазах превратился в смиренного монаха Питирима!

Общительный и благожелательный нрав сделал Ивана Тихоновича добровольным “культургом”, не только обзванивающим своих многочисленных подопечных перед приездом какого-нибудь знаменитого артиста, которого наконец-таки удалось Анатолию Шипитько залучить в Майкоп, но и рассказывающим потом дорогие сердцам понимающих зрителей подробности... Он ведь, Болдырев, первым приходит в филармонию перед концертом и уходит последним, деликатно пропуская впереди себя редкого, дорогого гостя...

Иван Тихонович и нашел меня по телефону несколько месяцев назад: мол, бесконечно виноват перед вами, но, Бог свидетель, не мог перед этим дозвониться!.. Да что такое, спрашиваю?.. Уверен, говорит, что вы тоже пошли бы к Анатолю Васильичу на репетицию: из Нальчика приезжали два певца с великолепными оперными голосами, давно, мол, таких не приходилось слышать. И, знаете, что они поют?.. Русские народные песни! И как поют, как!.. Для всех это будет самый настоящий, большой праздник. Кто, конечно, придёт потом на концерт... Анатолю Васильичу засел за ноты, чтобы самому получше к ним приспособиться и им дело облегчить. Репетирует пока без них, первый концерт потом в Нальчике, затем у нас, но дата уже известна: можете своих друзей приглашать! Пусть подумают. Понимаю, как трудно нас раскачать, все своими делами заняты. Но пропустить это просто нельзя — ну, никак! Так вот, чтобы мы с вами не были потом виноваты...

И в который раз начинаются одни и те же страдания:

— Не хочешь увидеться на концерте “Русской удали”? — звонишь.

— Так ведь там же не так давно и встречались!

— Ты, братец, как тот милиционер, которому дарят книгу... Спасибо, говорит, у меня одна уже есть!

— Ну, сравнил, ну, — спасибо!

— А разве не так?

И долго говоришь о вещах очевидных, как бы азбучных, о которых интеллигентному человеку и говорить-то стыдно: концерт концерту рознь, дело известное. Что-то прошло в тот раз на высшем уровне, а что-то получилось не очень, мало ли!.. К тому же теперь с “Русской удалью” будут кабардинцы.

— Да этих кабардинцев в Майкопе!.. Вчера только с одним разговаривал.

— Оперные голоса, ты слышишь? Оба окончили московскую консерваторию. С отличием. Но в Нальчике-то с эти не разгуляешься, с оперой. А русские народные песни там у них — на ура...

— На бис, ты хочешь сказать?

Ведь понимает, а? Как раньше говаривали: грамотный! Но уговорить так и не удаётся. Ни одного, ни другого, ни третьего... да что же это?

Тоже кое-что понимаю: прописан в Москве, но больше пока, спаси, Господи, езжу, где только не бываю. Недаром же здешняя журналистка Валерия Ломешина однажды мне как приклеила: география, мол, его творчества — Северный Кавказ — Москва — Западная Сибирь — напоминает анэ: адыгейский столик-трёхножку... Ещё и самого себя начать цитировать, что ли?

Пошучиваю, думал. А ведь, и в самом деле, придётся!

Потому что как бы заново обнаружил: в вышедшей в 2006 году в Майкопе книге “Газыри” три рассказа — три “газыря”, значит, — посвящены “Русской удали”.

Вот самый короткий из них: “Уроки Грузии”.

“Нынче, правда, об уроках Грузии, преподанных ею столько лет, словно щитом, прикрывавшей её России можно долго рассказывать.

Но мы о добрых уроках.

Полистал сейчас свой сборничек “Голубиная связь”, быстренько пробежал рассказец “Короли цепей”... нету там! Что делать? Годы идут, написанного все больше, и уже не всегда помнишь, где о чем написал. Помню, что писал, — это точно, но вот где?

И тут так.

А искал я сюжетец с грузинскими борцами, возвратившимися домой: с победой, естественно... Встречают такого в аэропорту, и первым делом к нему, какому-нибудь заслуженному-перезаслуженному, подходит личность, известная лишь в Тбилиси: таксист Леван или официант Котэ... Подходит и прямо тут же, на взлётной полосе, укладывает героя дня на лопатки: чтобы не возомнил, будто он — и в самом деле, лучший борец... вон таких сколько в Тбилиси! А по всей Грузии?!

Постоянно возвращаюсь мысленно к этому обычаю: очень нужный, очень справедливый обычай.

Из-за чего недавно о нём вспомнил: мы были на концерте “Русской удали” — оркестра народных инструментов под управлением Анатолия Шипитько. На этот раз выступал с ним баянист Николай Горенко из Сочи... сразу скажу, что я сочувствовал невольню оставшимся в тени прекрасным Толиным баянистам. Но что делать?

Горенко не только — блестящий виртуоз и артист-характерник, не скрывающий себя под каким-нибудь традиционным концертным фракком... потрясающий работяга: как летали у него по пуговкам пальцы! И в самом деле — будто легко порхавшие птицы. Но понимаешь, сколько за этим труда и пота, в том числе и выступающего на красной рубахе на виду у зрителя... Как когда-то у Гарибальди? Чтобы не было видно крови. Как у каких-нибудь “ломающих” пьяного гопачка тверских “драчунов”-танцоров.

Концерт посвящен был Геннадию Заволокину, и я опять услышал далекий — хотя он рядом, всегда в душе, — зов неоконченной работы о нем и о народном творчестве, которую озаглавил: “Казачи и пигмеи”.

Так вот, по этой четкой классификации Николай Горенко ещё какой казачура, как и сам Шипитько: недаром же, послушав его оркестр, которому пришлось подменить на фестивале в Анапе какой-то опоздавший на него именитый коллектив, и организаторы фестиваля, и жюри засыпали Анатолия вопросами — мол, кто таков, мол, откуда? Почему о нем не слышать?

А о ком слышать-то?

Вот тут-то и подходим к главному: да ежели бы после выступления какой-нибудь разрекламированной сверх меры звезды или такого же звездюка выходила бы какая-нибудь деревенская Фрося — на этот раз такой “Фросей” была Анна Железовская, которую я уже слышал с ними в станице Гиагинской, дай Бог ей удачи! — эти деловары давно бы перемерли от стыда за себя... но стыда у них нет. Они давно бы уже “повыздыхали”, как в родной моей станице говаривали, от черной зависти.

Но не так ли нынче в искусстве вообще? Не то же ли самое — в литературе?

(Утром читал маленькую книжечку Николая Зиновьева, поэта из городишка Кореновска... Какой там Вознесенский?! Коля наступает на пятки своему кубанскому землячку Юрию Кузнецову:

Из всех блаженств мне ближе нищета.  
Она со мной и в летний дождь, и в стужу.  
Она тяжка. Но — тяжестью щита,  
надежно защищающего душу.

Ну, кто из них мог бы так сказать? Им ведь сие неведомо, в том-то и штука, что они-то — всего лишь богатые дельцы!)

Хороший был в Майкопе концерт.

Дай, Господь, чтобы он пригодился мне, когда снова возьмусь за “Казачков и пигмеев””.

Пригодился вот!

Недаром считается, что всю жизнь, как бы мы это ни озаглавливали, постоянно пишем одну и ту же книгу.

Позволю себе заодно привести короткий отрывочек из рассказа “Два пирога в память о старшем друге” из тех же “Газырей”:

“...В зал Кремлевского Дворца вбежал как раз в тот момент, когда только погас свет, но сцена светилась ярко, было видать, что свободных мест много, в том числе и в самых первых рядах.

Когда неделю назад покупал билет, улыбнулся кассирше, примерно своей ровеснице: “Не могли бы дать мне местечко посредине в самом верхнем ряду?.. Дело в том, что на съезде комсомола в одна тысяча девятьсот шестьдесят “бородатом” году там сидели наши сибиряки... молодость хочу вспомнить!”

Она понимающе рассмеялась: “Возьмите просто входной, все правильно. Будут места. Русская народная музыка — это вам не Пугачиха с Киркошкой... так на родной земле теперь живём!”

Быстренько прошел со своей верхотуры вниз, сел во втором ряду, чуть справа.

Наши, майкопские, были на очень высоком классе, вровень с самыми именитыми из тех, кого пригласил выступить вместе с собой руководитель Национального, так он теперь называется, академического оркестра народных инструментов России Николай Калинин — а уж он-то знает, кого приглашать. И вот после “нашего” номера, когда раздались первые хлопки, настал и мой час, опыт есть. Сложил ладони рупором, заорал:

— Майкоп — молодцы!.. Толя — браво!

Следил, само собою, за Шипитько, но он в мою сторону не посмотрел, не подал вида, что слышал: только и того, что я об этом, как стреляный воробей, по чуть просветлевшему лицу его догадался.

Но как радостно он потом рассказывал об этом в Майкопе общим нашим товарищам! Как жал мне руку:

— Ну, молодец! А я и забыл, признаться, что ты обещал прийти. И тут вдруг — “браво” не где-нибудь, а в Москве, в Кремлевском дворце! Наши потом неделю ходили радостные...

У меня прямо-таки сжалось сердце: как мало надо для счастья, как говорится!

Которого эти-то — “Пугачиха” с “Киркошкой” да иже с ними — чуть не каждый день черпают такую бесстыдной мерой...

И всё я вспоминал потом и неполный зал, и бедноватую для Москвы публику, которая расходилась потом со счастливым светом на лицах”.

Незадолго до того дня, когда с “Русской удалью” должны были петь кабардинцы, снова позвонил Иван Тихонович:

— Не ругаете меня, что не только вас, но и ваших друзей втравил в это безнадежное дело?.. Имейте в виду, что концерт перенесли. Почти на месяц. Может быть, всё-таки удастся продать билеты. А то ведь нечем будет и заплатить артистам... какие голоса, я как вспомню!

Опять я принялся звонить здешним своим друзьям:

— Из-за таких вот, как ты, горе-патриотов... что рвут на себе рубаху, когда кричат, что они — настоящие русаки, да ещё и с дворянскими корнями... Кричат, что

“деньги — помёт дьявола”. Но жалеют отдать сто пятьдесят-двести рублей за концерт своего же товарища по искусству...

Наиболее уязвленный из них тут же пообещал:

— Сейчас отнесу к ним в кассу шестьсот рублей... на два лучших билета, так? Чтобы вы с Иваном Тихоновичем обо мне плохо не думали. Пусть возьмёт, кто захочет. Кому вы скажете... А сам могу надолго отлучиться...

Это с подводной лодки-то?

Под названьем “Майкоп”...

Но вот, наконец-то — вот!

Мы в зале Адыгейской филармонии, и он потихоньку начинает наполняться... да неужто, и в самом деле? Неужто?!

Сидим с женой на самых дорогих, за триста рублей местах, и к нам откуда-то сверху спускается Иван Тихонович, половину “Военного городка” приведший на дешёвые места за свою подполковничью пенсию. Вид у него счастливый, но почему-то заодно и чуть виноватый.

— Милиция выручила, — говорит. — Выкупили все оставшиеся билеты и раздали сотрудникам, у них профессиональный праздник... будет публика, будет!

Рядом с нами садятся двое, оба в средних годах, к которым то и дело спускаются сверху девочка лет десяти и мальчик чуть старше. Они, видно, сидят несколькими рядами выше — родители раз за разом тут же отсылают их обратно.

Шипитько начинает с девятнадцатого века, с основоположника народных оркестров Василия Васильевича Андреева: “Светит месяц...” Казачье, как считается, солнышко.

Обычно так начинает, если предстоит русская классика... Невольно думаешь: с кабардинцами?

Но когда Мухадин Батыров высоким, с красивым тембром, “бархатным” баритоном заводит “Тройка мчится, тройка скачет”, и уже в самом начале слышится неожиданная, будто бы давно забытая сила, в зале устанавливается счастливая тишина, которая обрывается потом взрывным всплеском аплодисментов и громкими криками “браво”, к которым присоединяю своё вроде бы простецкое, но зато ведь — адресное: “Молодец, Мухадин!...” Как будто до этого уже десяток лет знал его... больше, больше! Потому что и предки мои любили эту песню, как иначе, если дядя мой был основателем “женского оркестра” в одном из колымских лагерей, в Ягодном, и знакомые летчики с риском вывезли его потом из Магадана: за “хороший голос” и “матрас денег”, из которого он отобрал потом на материке “сколько захватит пятерня”... На дорогу до родной Кубани, до дома.

— Молодец, Мухадин, молодец!

Ай да кабардинцы, ай да ну!

Объявляют Алия Ташло: “Вернись в Сорренто”. Великолепный, богатой окраски, драматический тенор... И — началось!

Сменяют друг друга: Мухадин поёт “Только раз бывает в жизни счастье”, “Ямщик, не гони лошадей”, “Вдоль по Питерской”, и вдруг — “Из-за острова на стрежень”... Когда её в последний раз слышал-то? Где?

А ведь было время, когда в небогатом застолье на нашей “ударной комсомольской” она считалась чуть ли не обязательной. Не по какой-либо официальной причине: просила душа. “И жила бы страна родная”, и “Люблю тебя, жизнь!” — это как бы само собой. Но вот и Стенька, Разин Степан Тимофеевич, выходит, непременно напоминал о себе: не позабыли?!

Как же наша “Западно-Сибирская Сечь”, наша вольница, могла его позабыть?!

Между этими старыми русскими песнями Алий выходил и с “Санта Лючией”, и с давней итальянской песней ещё пятидесятых годов: “Скажите, девушки, подружке вашей...” Как его тоже принимали!

Объявили песню, совсем почти забытую: “Россия”!

Иван Тихонович перед началом успел шепнуть: песня, конечно, удивительная, но давно не исполняют, в ней, мол, — “сталинские мотивы”... дались нам! До этого Алий не пел её, это Анатолий Васильевич предложил ему: “Поверь: твоя песня!” Расписал для него ноты, чтобы тот разучивал в Нальчике — и вот, вот...

“Россия вольная, страна прекрасная...” мощно звучит удивительный голос Алия... какой голос!

Что же им там, действительно, в Нальчике — с такими голосами? Оперы нет, а далеко ли уйдёшь с русской песней, это хорошо, что сюда приехали... хорошо?

Если бы не “ментовский” праздник, опять бы, небось, концерт не состоялся!

— “Песня мухаджиров”! — вновь объявляет Алия Ташло ведущая.

— Мухаджир, это — путешественник, — деловым тоном объясняет достаточно громко жене наш сосед.

И сколько тут же стремительно проносится в сознании!..

“Путешественник, — горько думаешь, — да! Избавил бы впредь нас Господь, и черкесов, и русских, от подобного рода путешествий... Изгнанник! Покинувший свою родину”.

Но кто этот-то человек, так свободно толкующий отдающее болью слово?

Как раз родная милиция, небось: точно-точно! Тут же недавно нового министра “внутренних дел” назначили. Откуда-то, кажется, из Восточной Сибири... вон как далеко! А за ним в наши места, нынче иначе не бывает, табором потянулись

прежние его сослуживцы, которые в здешних делах — ни уха, ни рыла...  
“Путешественник”, видишь ли!

Но как выразительно, с какой безысходной болью Алий поёт! И как внимательно, с каким сочувствием его слушают!

В сознании лихорадочно проносятся недавние встречи в Нальчике: на свой семидесятилетний юбилей позвал один из самых знаменитых “путешественников”: потомок кабардинских мухаджиров Мухадин Кандур. Композитор, писатель, сценарист, снявший в Голливуде несколько фильмов о Северном Кавказе — родине предков. И — крупный бизнесмен, входящий в сотню богатейших людей планеты. “Человек мира”. Может быть, оттуда оно, из Иордании да Англии, — всё видней?.. У него, у единственного, как-то прочитал: мол, ещё неизвестно, правильно ли поступили те горячие головы из наших не столь давних адыгских предков, кто в 1861-ом году напрочь отверг предложения императора Александра II об условиях мира... Здесь это попробуй заявить! Хотя многие именно так и думают.

Алию Ташло аплодировали: дошла боль? Хотя по-черкесски, как сам я, многие не понимают, но в голосе у Алия слышалось такое неизбывное горе, такое страдание...

Но стоп! — подумалось. — Стоп.

Тут странное, выходит, дело... Как бы некий исторический парадокс.

Исход черкесов случился в позапрошлом веке не только из-за того, что русская армия была вооружена так ими с тех пор ненавистными пушками... Разве это начисто исключало русское бесстрашие и русскую удаль?

Но вот они слиты воедино: звучание оркестра “Русская удаль” и “Песня мухаджира” — скорбный плач черкесского изгнанника...

Они-то сами об этом думали? И дирижёр Анатолий Шипитько... И оба кабардинских певца?..

Интересненькое, думал я, дельце: как оно у нас всё тут, на Кавказе, переплелось! Так неразрывно одно в другое вросло... Может, и действительно, — могло бы и раньше?

И многих трагедий в последующей нашей общей истории, уверен, не случилось бы...

И снова вдруг: постой-ка, постой!

Так они ведь теперь все вместе, считай, мухаджиры! Вот в чем дело: и те, и другие. Эти двое кабардинцев с великолепными своими, удивительными голосами и консерваторскою школой как бы не нужны в Нальчике... А кому со своим оркестром нужен Шипитько тут, в Майкопе?

Перед этим ведь кого только не уговаривал: давай сходим, ну, — давай! Неужели Толе не сочувствуешь, неужели тебе за такое положение дел на родине-то не

стыдно?.. Он ведь сам иногда вздохнёт: это хорошо ещё, что к ансамблю и ко мне самому Заур Хот, директор филармонии, и с пониманием, и с явной симпатией относится!.. По сути, не приносим ему дохода, но он всё подбадривает: будем надеяться, Анатолий, будем надеяться! А на что, скажи мне, надеяться, — на что?!

Очень деликатно, боясь наступить “на больную мозоль”, взялся однажды расспрашивать Анатолия Васильевича: мол, каким видишь будущее своего оркестра?.. Понимаю, что страдаешь из-за малого числа слушателей, очень тебе сочувствую, но разве нынче только ты в таком положении!

— Вы меня видите на сцене перед оркестром, — стал он печально размышлять. — Видите годами и всё замечаете: как Шипитько поправился... проще говоря: постарел. А о чем, как ты считаешь, думаю я, когда гляжу в зал?.. Когда за весь оркестр раскланиваюсь или поднимаю кого-то отдельно, чтобы зал обратил внимание и особенно тепло поблагодарил. Я ведь с печалью думаю: как все зрители, все мои слушатели на глазах становятся всё старше и старше. Одни и те же люди. Наши горячие приверженцы... Постоянно одни и те же лица! Когда-то, первый раз в зале, видел их ещё молодыми и радовался, что новенькие пришли... Но годы летят, а новеньких теперь, знаешь, почти не появляется... редко-редко! Внучку или внучка приведет бабушка, он с ней рядом повертится... сам не слушает, ей мешает. Глядишь, в следующий раз приходит снова одна... а в общем-то это трагедия нашей русской культуры: ты-то меня понимаешь!

Ещё бы не понимать.

Помните старинную сказку, как опытный крысолов избавил средневековый город от нашествия всеядных тварей?

Заиграл на своей флейте особый мотив и через городские ворота пошел через деревянный мостик за реку, а все крысы — за ним. Мостик разобрали, и досаждавшие горожанам твари остались на другом берегу.

Крысолов вернулся за деньгами, но городские власти обманули его: решили не платить.

И обиженный крысолов снова достал свою флейту и снова заиграл.

И увел из города всех, до единого, мальчиков и девочек. Всех детей...

Не то же ли нынче происходит в России? С той, правда, разницей, что крысы так и остались в городе.

А детей наших и внуков чужие крысоловы смогли увести. Если не всех, то — многих и многих.

Это благодаря им, телевизионным крысоловам, наше “племя младое, незнакомое” почти отвыкло от национальной культуры. И если в горской Республике или в каком-нибудь не столь многочисленном народе это пока считается предосудительным, и “суверенизация”, которой все мы успели чуть не до отрывки наглотаться, хоть тут своё доброе дело сделала — снова привязала к давней традиции, то с русскими всё наоборот. Под разговоры о толерантности чужая псевдокультура с треском отрывает молодёжь от народных корней, а с теми, кто



этому сопротивляется, невообразимое дотоле количество явных агентов влияния поступает по стародавнему принципу “вологодского конвоя”, который “шуток не имеет”: “шаг вправо — агитация, шаг влево — провокация, прыжок на месте считается за побег”. Так и здесь: не “хочешь стать Максимом Галкиным” — тут же зачислят в скинхеды. Или в националисты. В экстремисты. В ксенофобы. Или ещё куда-нибудь, о чем бедный парень — в прямом смысле бедный, прежде всего — в прямом! — до этого не имел представления...

Как тут снова не вспомнить Лесковское, из “Очарованного странника”: “И даны мне были слёзы дивно обильные. Всё я о родине плакал”.

На которой, и в самом деле, произошла преступная подмена ценностей: на Лолиту, хотя билеты стоят куда дороже, в Майкопе будут ломиться. На Азизу — тоже. Побегут и на концерт Винокура с явно издевательским названием “Смех без причины...”. Или “поколение пепси” уже и не знает, что вслед за этим следует: “...признак дурачины”?

Но виноваты мы — допустившие это старшие.

Ведь мы их, по сути, предали.

И, к несчастью, они это поняли куда раньше нас...

## ПЕСНЬ О “КАЗАЧЬЕМ КРУГЕ”

Чем круглые даты хороши: приходится всё остальное бросить, и — за работу. Об именинниках писать. О юбилеях.

И ещё одна особенность у таких дат: наступают всегда неожиданно. Ведь знаешь, знаешь, что предстоит, а падает, тем не менее, — как снег на голову.

Так и тут. Думал, дам телеграмму подлиннее, посодержательней, и дело с концом. Или вернусь к этому времени в Москву. Ан нет.

— Выпала нам такая возможность, — звонит в Майкоп, где зимуем с женой возле её очень пожилой мамы, атаман “Казачьего Круга” Николай Сахаров, — выпустить о нашем ансамбле книжечку, а чтобы вовремя вышла, сдать её в набор надо было даже не вчера — ещё позавчера...

— И что мне теперь прикажете? — интересуюсь.

— Да ведь у вас много о нас написано, вы просто выберите, и — всё! Только, и в самом деле — позавчера...

— Может, ты уже атаманишь у “Машины времени”? — пытаюсь его поддеть.

Но он там чуть не пугается:

— Упаси господи!..

Ну, вот и начнём выбирать, благословясь.

Однако, если с самого начала рассказывать, то как бы вроде пока и не из чего: так давно хочется — но об этом как раз пока не написал. Как в конце восьмидесятых в Москве услышал их на “сборном” патриотическом концерте в каком-то рабочем клубе, и тут же бросился за кулисы: вы кто, ребята? Откуда будете? Ай, молодцы какие!

Все последнее время сам работал как бы в том же “казачьем” ключе: в “Нашем современнике” незадолго перед этим вышел роман “Вороной с походным вьюком”, в родной станице Отрадной на Кубани только что сняли кино по моей повести “Брат, найди брата”, да какое кино, какое!

Только потому тогда широко и не пошло, что уж больно горькая это была картина: об обманутом и потому спивающемся теперь “красном казачестве”. В январе 2007 года в Майкопе по DVD в компьютере посмотрел уже совершенно затертую копию и взялся разыскивать киевский телефон режиссера Сильвы Сергейчиковой. Дозвонился, наконец: ты-то, мол, Сильва Александровна, хоть понимаешь, что фильм твой — пророческий? Что на кладбище за хутором Ильич на бугре ты хоронила тогда не старуху Татьяну Никитичну — хоронила советскую власть?

Музыку к “Брату...” сочинил Евгений Дога, но “мудрствовать лукаво” ему не пришлось: казачьи песни явно очаровали его, одних распевов грустной “Ранним утром непогожим — дождь со снегом пополам...” хватило почти на весь фильм. Но сколько мы эти песни по станицам и хуторам собирали!

Примерно в это же время опять в “Нашем современнике” — славный тогда был, славный журнал, и вовсе не потому, что мою прозу печатал — вышла повесть “Заступница”, из которой наверняка стоит “выбрать” одно местечко, которое относилось тогда ещё не к ансамблю “Казачий круг” — ко всем нам, легковерам. Главная героиня Анастасия Панкратьевна и её тоже очень пожилая подружка Гаша Синерылова, которая “так Синерыловой и осталась, когда вся остальная родня на Синекрыловых фамилию поменяла”, так рассуждают о “гласности” и “возрождении” вообще: “дажно, девки, уже последних, кто ещё остался непокорный, хотят узнать да забрать потом, чтоб никто им больше не сопротивлялся, а они бы, что хотели, то и делали...” “Неужели ж за нас уже некому и заступиться: одни предатели?” — чуть не кричит наша героиня. А не меньше её повидавшая на своем веку подружка отвечает: “Да так и есть! Неужели ты чего другого ждешь?”

Тут невольно тянет сказать дежурную фразу: мол, жизнь только подтвердила слова станичных страдальцев.

Но речь уже о другом: жизнь подтвердила также и то, что не погиб казачий характер и даже не попритих, не спрятался. Как же мне остаться в стороне, если ребята открыто вышли и — громко наши песни запели?!

И я стал ездить за ними из клуба в клуб, а потом и приходиться на репетиции: казачья песня такие горизонты прошлого открывала и так притягивала, так возвышала душу!

Как-то после концерта в “клубе Горького” неподалеку от нашего дома на Бутырской “Круг” вслед за мной в полном составе ввалился в квартиру к нам, и тогдашний его руководитель Володя Скунцев сказал чуть ли не у порога: знаем, что теперь ты, батька, не пьешь, потому на горилку не намекаем, но только не убеждай нас, что в доме у казака сала может не быть!

В какой бедной бедности и в какой простоте они тогда начинали!

Только сало и нашлось в доме, жена гостила у мамы в Майкопе, но зато были чистые кассеты — как они у меня в кабинете распелись, какой записал я тогда концерт!

Дружба с “Казачьим кругом” во многом определила дальнейшую мою судьбу: если бы не их настойчивое желание видеть не кого-то другого атаманом землячества казаков в Москве — видеть меня, разве я дал бы согласие взять на себя эти полумифические обязанности?

Но вот ведь какое дело: пожалуй, я и тогда это интуитивно ощущал, а нынче, уже после долгих и трудных размышлений, уверился окончательно, что их-то ансамбль и раньше был, и нынче остается самой главной, и, может, единственной, реальностью из всего того, что с горечью именуем казачьим возрождением. Лишь они воплощают в себе то самое уникальное триединство хоть пшеничного, хоть какого другого зернышка: прошлое, настоящее, будущее — всё в одном.

Для них — в старинной народной песне.

Открытым сердцем восприняв живший в ней неистребимый казачий дух, эти подвижники свято хранят его теперь в годы смуты: в надежде на возможное будущее.

В надежде и, конечно же, — в вере.

Это можно уже и “выбрать” из моих текстов — для начала из очерка “Возвращение наших”, помещенного в 1993 году в специальном выпуске “Роман-газеты” под названием “Слава Тебе, Господи, что мы — казаки!”

Речь идет о том времени в 92-ом, когда мы задумали провести в Колонном зале первый смотр народного искусства России, и я по уши ушел в подготовку этого непростого мероприятия: “До концерта в Колонном оставалась ровно неделя, а дел впереди было — не переделать, препятствий вдруг возникло — не одолеть. То вдруг телевидение наотрез отказалось снимать праздник, то вдруг за автобус заломили такую цену!.. Чуть ли не в последний день уплыла вдруг гостиница Центрального дома Советской Армии”.

Но всё это пережили бы, ладно: у нас были трудности иного плана: “Решили, что праздник откроем общим выходом участников с казачьими иконами, но где они теперь, наши иконы?”

Тут я просто не имею права не упомянуть о знаке, который был нам из Диеева: к дому на Бутырской, это чуть ли не центр, подъехал на своем громадном МАЗе бывший диеевский житель Слава Корчагин, который погостить домой ездил из Москвы на этом чуде, напомнившем мне о временах сибирской стройки... От

давнего знакомого Алексея Земскова, вместе с которым в Сибири работали, прибыли вдруг четыре небольших по размеру иконки преподобного батюшки Серафима Саровского... А вслед за этим случилось и самое настоящее чудо:

“Когда встретились вечером на маленьком деловом совете, Николай Шантаренков, один из основателей “Казачьего круга”, любимого всеми мужского ансамбля, самый в нем старший по возрасту — патриарх, сказал вдруг чуть виновато:

— Я тут уже несколько дней веду переговоры... На софринской церковной фабрике заказывал икону Донской Божией матери — почти два года назад. Николай Москалионов написал, один из лучших иконописцев. Короче: икона ждет!

И какая, какая икона!

Когда её привезли в Донской монастырь, где на следующий день должны были в Михаило-Архангельской церкви освятить, вечером собрались перед ней все монастырские иереи... Старейший из них, отец Даниил, чье восьмидесятилетие только что торжественно отмечали в Богоявленском храме утром перед началом службы, сказал с радостным умилением: “Очень всем нашим понравилось, как писан образ... Одобрили и просили передать: может, казаки, когда станут на ноги, и для нас такую же икону закажут?”

Но, ох, как непросто было потом “у казаков”!

Не только добрые ангелы им помогали — всю старался и сатана, древний разъединитель, обученный теперь самым современным технологиям управления людским сознанием.

Потому-то и бесценно творчество “Казачьего круга”: старинная хоровая песня — народная общая молитва, против которой диавол также бессилен, как перед Крестом и Евангелием.

Вы мне простите, старые друзья мои, ещё одну страничку из “Возвращения наших”: она ведь не столько обо мне — больше о нас с вами, о нас обо всех.

“Случилось так, что после нашего, на славу удавшегося праздника в Колонном зале икону некуда было — имею в виду постоянное место, помещение землячества, где как раз шел ремонт, — определить, и мы привезли её в нашу квартиру, поставили на столе в бывшей детской... Сначала я считал дни, радовался каждому наступающему и с благодарностью провожал всякий прошедший, потом как-то вдруг к иконе привык — очень основательно, очень глубоко в душе, очень твердо... А после вдруг защемило: вот-вот настанет срок с ней расстаться — дом наверняка опустеет!

Как радостно, поверьте, стоять перед большой — размер её восемьдесят на шестьдесят сантиметров, великолепно написанной иконой и вбирать не только глазами — вбирать душой красоту одухотворенного лица, в мягких чертах которого знание о возможном совершенстве мира так воедино слито с печалью о том, как он пока далек, этот мир, от совершенства...

Понятное дело, что эта икона — гостья нашего дома, столь многое в нем уже преобразившая. И счастьем станет потом — коли буду жив — приходить туда, где

найдет она постоянное пристанище... может, это, и в самом деле, должен быть храм, а не землячество?... Или перед этим ликом и там, в землячестве, если не все, то многое как бы волшебным образом переменится... воцарится истинное, а не показное братство и тихое милосердие... перестанут не только грубые слова бездумно говорить и торопливо закусывать, но остерегутся грубости и в молчаливых помышлениях?"

Вот в чем дело: ведь лыко в строку, как говорится!

То, что не удалось сохранить не только землячеству, не только Союзу казаков России, но на первый взгляд — вроде бы и самому, тоже испытавшему раскол, "Казачьему кругу", хочешь не хочешь все равно ими сохранено и, смею утверждать, хорошо зная обе стороны, приумножено, потому что и тут, и там — одно-единое: не только истинное — истовое служение казачьей песне, а, значит, и казачьему духу... А соперничество в этом — что ж, где и в какие времена его не было?

Часто с печальной улыбкой вспоминаю рассказы о том, как атаман станицы Надежной в наших краях в дни больших праздников или в воскресенье после обеда устраивался со стариками на вершине холма, где было правление, а с остальных — вся Надёжка разбросана по холмам — после выстрела вверх начинали одна за другой звучать песни: чей "куток" лучше "крычить"?.. Очень часто побеждал тот, что находился под самой горой на краю станицы, но и спрос был тут с песельников особый: гора звалась Обзывнуха, считалось, что она, высокая и плоская, помогает поющим: "обзывается"!

Раньше песням казачьим и горы помогали!

А как их нынче приходится собирать, как после долгой поры исторического беспамятства вытаскивать теперь из-под обломков черной горы "забывнухи"?

Тут можно, пожалуй, "выбрать". Этот отрывок из рассказа "День святого Георгия":

"Случилось это, пожалуй, в восемьдесят девятом году — уже в наши дни, как говорится... Уточнить можно бы, дозвонившись Володе Скунцеву и Марине: той весной по старинному обряду они обвенчались на Ставрополье у друзей своих, казаков-некрасовцев, и через несколько деньков после свадьбы нагрянули к нам в станицу.

Володя уже бывал и в Отрадной, и в старом моем родительском доме... Оставшийся без недавних заботников, дом пустовал, и когда парни из ансамбля "Казачий круг" — великолепного мужского хора — приехали на съёмки документального фильма о нашем Предгорьи, друзья мои в нем их и поселили.

В ту пору мы с женой, покинув Москву, принялись заново обживать наш дом, намереваясь, коли даст Бог, остаться в нем навсегда... Давалось это — после стольких-то лет столичной жизни — непросто, и появление Скунцевых было для нас не только подарком, потому что мы хорошо знали их и чистосердечно любили, но и дорогим сердцу знаком, потому что, где бы ни жили, всегда истово исповедовали кавказское: гость в дом — Бог в дом.

Даже по прошествии стольких лет очень хорошо помню, как трогательно эта молодая пара тогда выглядела, как смущалась тоненькая большеглазая Марина, как, оберегая её, ходил вокруг заботливым петушком Володя, особенно похожий в то время и русой бородкой, и вообще всем ликом, на императора Николая Александровича. Недаром ему так шла русская полевая форма, которую стали тогда не только распродавать задешево, но чуть не силой навязывать: бери! Вроде того что: не выбрасывать же?

Как легко мы расстаемся с собственными традициями и с собственной славой... может, кроме прочего, страдаем-то ещё и за это?

Не буду описывать, какой у Володи голос, не стану долго рассказывать, какой неоцененный пока духовный подвиг “Казачий круг”, им собранный, совершил... Когда начала распадаться держава, и столь многие, обессилевшую, жадно бросились её обирать и грабить, эта голь перекатная, певцы, которым цены нет, совсем другим озаботились: может народная культура пропасть — затопчут. Старинная песня может исчезнуть навсегда — заглушат.

На жалкие, на последние гроши на все четыре стороны, в глухомань, стали отправляться они “за песнями”.

Через несколько лет чуть не за руку я привел к ним на репетицию знаменитого “эмигрантского” певца, потомка донских казаков Бориса Рубашкина (настоящая фамилия его чуть подлиннее: Чернорубашкин)... Будучи достаточно близко знакомым с некоторыми из зарубежных казачьих отпрысков, смею утверждать, что этот богато одаренный талантом нынешний австрияк — один из самых деловых людей, самых жестких, и если бы не его душевный друг кубанец Александр Притуп — эх, нынче болгарин! — мне бы наверняка не удалось удержать Рубашкина до той минуты, когда ребята запели, наконец...

“Где они? — кипел Борис, оглядывая пустой зальчик, который “Казачий круг” на птичьих правах “арендовал” в одном из московских дворцов культуры, по иронии судьбы — в ДК завода имени Ильича. — На моих часах ровно семь. Это безобразие, господа! Серьезные люди не могут так поступать!.. Какая работа, оставьте, причем тут метро?.. Кем, говорите, кем? Слесарем?! Ах, среди них есть архитектор и есть редактор... Два кандидата наук, да, но скажите, скажите мне: артисты среди них есть?.. Объясните мне, в конце концов, кто они и зачем вы сюда меня привели?!”

Вскоре мы с добрым моим землячком, нынешним болгаринном, буквально вдвоем удерживали слишком горячего и “делового” Рубашкина... Стих он, наконец, когда ребята начали пробовать голоса, а когда они вместе спели первую, со слезами на глазах бросился к ним, закричал прерывающимся голосом:

— Господа, господа, где вы могли взять ноты этих казацких песен?! Их можно купить у вас?

Не всё пока на нашей Руси продаётся, слава Богу, — не всё... Долго объясняли заезжей знаменитости, что с нотами не работают, все собирали с живого голоса, но для него, так и быть, распишут ноты: в подарок”.

Вот и ещё отрывок оттуда же, из “Дня святого Георгия” — о том, как они находили песни в глубинке:

“...первым делом мы заехали в дом культуры станицы Бесстрашной, где собирался хор... и опять за мной должок, и — опять!

С краснодарской студией телевидения делали мы о нем передачу, я был в ней ведущим — “Земляки” наши дважды прошли потом по всесоюзному экрану... А книжку вот обещал, да не написал: что ж ты, Леонтьич?..

Хор, в самом деле, уникальный: умерли последние два казака, женщины остались одни... Как ни теснил, как не пригнетал их мало что понимавший в кубанской старине заведующий отделом культуры в Отрадной Нышан Керселян, стояли “как скала”... помните эту кавказскую?

На завалах мы стояли как скала!..  
Пуля жалила, жужжала как пчела.

Они и её поют: “Из-за леса, леса копыя да мечи... Едет сотня казаков-усачей!”

Уехали навсегда от нас усачи, уехали...

Оставили одних в нетопленном зале... хоть песни родные свои “покрычать”, и то!

Никогда у них не было какого-никакого хормейстера, вместо плавного взмаха рук — общий выразительный взгляд на ту, которая из-за простуды не совсем так вытянула; якобы незаметный для слушателей толчок в бок, а то и дерганье подружкиной юбки сзади: ну, куда ты, мол, — в лес, если остальные все — по дрова?

“Крычат” бесстрашненки всё больше мужские песни — походные, боевые, и в них всегда, без принятых когда-то деликатных изъятий — ну, так и не дошло сюда, так и не дошло! — не ждал пощады черкес, и чеченец, как и положено, клонил перед Россией непокорную свою бритую голову...

Среди воинских песен есть у них одна уникальная — “В ружьё!”. О Суворове. И поют они её так мощно и так выразительно, что невольно вдруг чувствуешь: да, так, — дух “дышит, где хочет”. В том числе и суворовский дух... и, может быть, как раз он — особенно?

В доме культуры Володя расчехлил свой выдавший виды магнитофон, подсоединил к нему два в разных концах поставленных микрофона, и началось действие, в котором неизвестно что было занимательней: удивительные старинные песни и молодод звучащие голоса женщин, которых походя называем бабушками, а то и старухами, или молчаливый наш перегляд: “Ну, как, Леонтич, нонче поём?” “Молодцы, девчата, ой молодцы!” “Да тебе-то всегда наши песни нравятся. И жинке твоей, она простая... А из Москвы этому, что с собой привели?” “Ещё как нравятся, девчата, — он дока, у-у!.. А все равно нравятся!” “А его жинке? Неужели у него, и правда, — артистка?!”

Когда Володя с сияющими глазами подошел потом к каждой, обнял и расцеловал, самая бойкая из них, Оля Дзёма, сказала: “Вот вы нас записали, вы знаете теперь,

как мы кричим свои песни, а как вы поете, мы так и не знаем... Может, хуть одну спели бы?"

Володя зачем-то включил магнитофон и запел обычным своим, первым голосом задумчивую:

Не для меня придет весна-а-а...  
Не для меня Дон разольё-ё-тся!

Как благодарно они слушали!

Неожиданно для самих себя зааплодировали, а он в это время перематывал ленту на кассете... Включил только что сделанную запись, сам себе взялся подпевать тембром погуще, уже вторым голосом, и песня зазвучала совсем по-новому...

Слушали, как зачарованные — не хлопали, а только изумленно переглядывались, пока он снова там перематывал запись.

Теперь он запричитал-заплакал тоненько бьющимся, звенящим подголосочком, соединявшим обе записи в совершенно новую, третью песню, до того сокровенную и жалостную, что “девчата” наши, все только лишь качавшие головами, теперь, не стеснясь, зашмыгали носами, захлюпали, а когда он закончил, снова Оля всплеснула сквозь плач руками:

— Боженьки мои! Да это ж настоящий хор, да какой, какой!

Володя глядел на них чуть загадочно: как мудрый император на простодушный свой народ в благодатную минуту всеобщего счастья..."

Но вот какое дело: сколько раз в роли “простодушного народа” оказывался и сам Володя, и многие из “Казачьего круга”, а бывало и — все сразу...

Дальше будет отрывок из неоконченной работы под условным названием “Подвиг Заволокина”...

Стал копаться в архивах, чтобы “выбрать”, как вы мне советовали то, что касается “Казачьего круга”, и столько, столько нашел!.. Сделалось и радостно, и грустно: неужели так никогда и не удастся написать цельный большой рассказ о вас всех — ведь столько заготовок, столько уже то начатого, а то неоконченного. Но жизнь постоянно отвлекает на срочные дела, которые вдруг покажутся более важными, хотя что может быть важнее этого? Сбережения народного духа?

Повременим пока с “Подвигом” — позвольте напомнить вам о моей статье, написанной когда-то о вас для родных “Казачьих ведомостей”, эх!

“Бессмертие Дуси Шипиловой, или Человек, поющий песню” — так она называлась.

Приходится благодарить вас теперь, братцы, что напомнили мне и об ушедших моих земляках, и о теплой моей милой родине... Вы тоже знали нашего станичного композитора Иллариона Сапрыкина, друга певца Ильи Собко, под чьи сделанные из “реввы”, из “пищальника” дудки особенно хорошо звучали казачьи песни:



недаром ими, подаренными Илларионом, так долго потом восхищались в хоре у Виктора Захарченко. В смутные девяностые, когда хор как бы заново отстаивал в “демократической” Москве право на всенародное признание, Виктор Гаврилович в концертном зале “Останкино” сам приподнял над головой, показывая публике, одну такую “дудочку-реву” и рассказал, откуда она и кто такие в нашей Отрадной делает. Как я был ему благодарен!

Тут сложная такая штука, до которой додумался только спустя двадцать лет: когда уже нет Иллариона Сапрыкина, а Виктор Гаврилович настолько изменился, что это уже — другой Захарченко...

Размышления обо всём этом подняли меня однажды посреди ночи, вышел потихоньку, чтобы Ларису не будить, в другую комнату, зажёл свет. На листочке коротко записал: “Подлинное величие — возвышение тобою другого или других, представляющих как бы весь твой народ, и Виктор был на пути...”

Тут вот какое дело: об этом тоже писал уже, потому что не написать, если знаешь, ну, просто нельзя.

Отец Лариона, дядя Ваня, вернулся с войны калекой, ездил на инвалидной коляске, но это, конечно, громко сказано — ездил. Отрадная наша — вся в буграх и пригорках, а между ними грязь непролазная. Потому-то мальчишка и сопровождал обычно отца: толкать в горку.

А дядя Ваня как раз купил старый баян, который остался у вдовы, жены его погибшего друга. И стал учиться у известного всей станице слепого гармониста, которого все звали исключительно по фамилии: Васючэк. До сих пор очень ярко помню его сидящим в ресторане у широкого окна под высоким фикусом с крупными глянцевыми листьями, помню серые от старости мехи и рыдающий голос: “Пад-ними-раскинул-си го-рад Берлин!.. И штурь-ман гатовит ращцёты! Но вот показались в небе над им — чуж-жие ле-тят само-лёты!”

Васючка мы хорошо видели, когда, стоя на улице, через стекло проводили рекогносцировку ресторанный зала, а слышали потом, когда вытаскивали из-за стола пьющую после фронта, у кого без руки, у кого — без ноги, родню.

И вот дядя Ваня стал ездить к Васючку домой, а Ларион сопровождал его и мучился потом, стоя за спиной отца, за коляской, потому что в окна заглядывала и нетерпеливо звала раскрытой ладонью его рыбацкая кампания: Ларион был страстный рыбак. А учёба шла очень медленно — Васючэк не торопился, видимо, пестовать будущего конкурента, и однажды Лорка сказал отцу: “Сегодня к Васючку не поедем, всё, — дальше я сам тебе буду показывать!” Дядя Ваня схватился было за ремень, но мальчишка взял баян и так лихо заиграл, что он вдруг отчего-то заплакал...

Потому-то и отправил он потом Лариона в Краснодар, в музыкальное училище, тратил на его учёбу чуть не всю инвалидскую свою пенсию, а через три года, на выпускной вечер, они вместе приехали в Краснодар на старом грузовике: сидели в кабине, а в кузове стояла дяди-ванина коляска. Её оставили внизу, Ларион усадил сухонького отца на плечо, поднял на третий этаж и усадил в первом, преподавательском ряду. Ларион играл, а отец опять плакал и вытирал платком не глаза, а лоркин “красный диплом”.

Работать он начал в районном Доме культуры, а после, когда почувствовал, что отсюда его потихоньку выживают новые насельники, уехал “на Чёрное море”. Начал там записывать старые казачьи песни и сочинять свои, его заметили отдохавшие в пансионате на Побережье композиторы-москвичи, и обработки его стали то и дело появляться в московских журналах, за двумя, как правило, фамилиями, а то, бывало часто, и за одной — уже не его, не Сапрыкина: искусство требует жертв, дело давно известное.

К чести москвичей, они прямо-таки затолкали Иллариона в Союз композиторов, но съездил он в столицу только однажды и всё отдаривался потом пухлыми конвертами с нотами казачьих песен, которые посылал то “с берега”, а то опять из родной станицы.

Потому-то мне и дорого было упоминание о нём, самоотверженнейшем собирателе и сочинителе, что самому ему никогда не светило побывать в этом знаменитом зале в Останкино, увидеть влюблённую в народное творчество публику, услышать дорогие душе аплодисменты... а, может быть, это вовсе не ему было надо, чтобы о нём тут вдруг вспомнили?

Пожалуй, это больше надо было гораздо лучше него знавшему, что в столице почём, Виктору Захарченко: не сомневаюсь, что душа его, когда вспомнил о сапрыкинских “ревах”, озарилась светом братской любви и к самому Лорке, и к родной Кубани, и к обманутому в который раз казачеству с его полными боли и достоинства песнями...

Но слава губит. Кого медленно, кого — гораздо быстрее.

Когда на свой шестидесятилетний юбилей в зале Чайковского в Москве Виктор Гаврилович представил чуть ли не исключительно свои, авторские песни, не только мне — многим сделалось ясно: не устоял. И огонь, и воду прошёл, прошёл, да, а вот самого главного испытания, “медными трубами”, не выдержал: оглушили.

И как хорошо, дорогие мои, как славно, что “Казачий круг” делит, как на казачьем дуване встарь, всё поровну: и победы, и поражения.

Ради казачьей песни.

Как-то однажды в Отрадной, когда мы втроём застольничали, Илларион спел нам — Илье Ивановичу Собке и мне — свою любимую, очень грустную:

Повесил я голову уныло...  
Спросил я: где мои друзья?  
Лишь конь мой верный доможилый —  
Они покинули меня!

Это вот, “они покинули меня” у Лариона было — как вскрик. Подобно многим в последнее время был и одинок, и слишком раним.

А тогда я и похвалил песню, и повздыхал, а Ларион вдруг сказал:

— Ты понимаешь: особенная!.. Друзья покинули, да. Все покинули!.. Но песня-то с казаком осталась!.. Это, если хочешь, песня о песне. Покидает человека последняя: с душой вместе...

Вы меня, братцы, извините, что “подзадержался” на родине, где давно уже толком не бывал — давно!

Вот чаще всего теперь и бываю душой, когда слушаю в Москве ваши песни, собранные у линейных казаков... что делать?

Кубанский хор по сути их не поёт.

Еще недавно, когда не совсем понимал, что происходит, а Захарченко ещё не ходил в профессорах и весь в званиях, был попроще и дружелюбней, я вставал среди зала после очередной песни, уже под стихающие аплодисменты свойски кричал:

— Линейненького, Виктор Гаврилыч, чего-нибудь — линейненького!

Нет, ну, правда: разве не знаем, что все первоначальные тяготы переселения запорожцев на Кубань вынесли черноморцы. Но потом-то, по мере продвижения вглубь Кавказа, они легли на плечи линейцев: в открытом бою, в постоянном противостоянии, в вольном и невольном соперничестве в дни мира вырабатывался особый тип казака-кубанца, особый характер, особый дух, ни в чем не уступавший джигитскому... И, как следствие, — свои, особенные песни, в которых больше отчаянной удали, больше лихости — уже не только своей, но перенятой у прежнего насельника-горца. Разве казак напялил на себя черкеску, нацепил газыри, подпоясался наборным поясом — и тем дело кончилось?

Из Калифорнии, из Лос-Анжелеса, получаю письма от Петра Величко, сына подхорунжего из станицы Передовой, ушедшего когда-то из родных краев вслед за генералом Шкуро. И каждое, каждое письмо моего друга-американца заканчивается словами: “Грею боевым взглядом!”

А ведь кроме “боевого взгляда” был у линейцев ещё и “боевой вскрик”.

Это мы теперь, это наши земляки в предгорных станицах посреди нахрапа липовых “беженцев” попускали головы, и взгляд у них попригас, и голос заметно потишал... И не слышать уже казачьих песен, в которых и то и другое непременно ощущалось, непременно звучало раньше.

Потому-то, когда несколько лет назад, в очередной раз приехав в гости к “бесстрашенкам”, неожиданно встретил у них хормейстера Кубанского казачьего хора Подкопаева, и в самом деле, бросился его обнимать:

— Володя, милый, ну, спасибо тебе — наконец-то!

Но вышло так, что собирал он старинные песни линейцев уже не для Захарченко — для своей “Криницы”, которая, что там ни говори, потихоньку застаивается рядом с бурно живущим Кубанским хором. Как-то пришлось быть случайным свидетелем “творческой беседы” Виктора Гавриловича со своим младшим коллегой, стоявшим перед мэтром в позе нашкодившего приготовишки: какое там — “боевой взгляд”! Откуда — “боевой вскрик”?!

Может, ещё и потому-то после поисков самого себя и был Подкопаев вытеснен на почти откровенную эстраду?

А репертуар “хора Захарченко” по-прежнему чуть ли не сплошь состоит либо из песен казаков-черноморцев, либо — из чисто украинских: недаром же Виктор Гаврилович уже коллекционирует звания соседней “нэньки”. Более того! В Адыгее “краснодарский кунак” пользуется щедрым официальным признанием за счёт того же, поверьте, “украинского” вектора: “ласковому телю” всегда жилось лучше бодучего бычка — ничего не поделаешь!

Иной раз даже подумаешь: а зачем вам, собственно, черкески, ребята?.. Вполне хватило бы и жупанов с шароварами!

Непросто такие слова писать, мало приятного — общепризнанной славе противоречить, да только что остаётся-то?

И крута гора, а миновать нельзя.

Собрание ваших песен, братцы, — может, противу авторского права, простите! — постоянно переписываю и раздаю близким друзьям... И вот буквально на днях приезжают из Лабинска двое: концертмейстер Юрий Куприн и скульптор Николай Надточиев. Юрию Васильевичу работа на сцене, куда деваться, потихонечку сообщает черты профессионального “сахара медовича”, зато наш общий товарищ как был казачура казачурой: осанка, жест, взгляд!

Но то и дорого, что именно он вдруг взялся с жаром рассказывать:

— Стал “Казачий круг” слушать, и холодок вдруг по затылку — своё!.. Наша лабинская родня, когда тут начали раскулачивать да целыми станицами заносить на “черные доски”, скрылась в Абхазии в горах — долго не было! А когда вернулись уже в семидесятых, как раз эти-то песни и запели. Мы от них уже и отвыкли, а тут — как будто какое сопротивление, ярость, протест, открытый вызов... Сам сперва твоих казаков дослушал, потом через день-два тётю свою позвал, единственная осталась в живых из наших “абхазцев”. Поставил, а она: ой, а откуда ж они это “у своей Москве знают”?

Вот за это с такими трудами, с таким тщанием, с таким бескорытием, с такой верностью казачьей песне добытое знание я и благодарен вам, братцы!

Может быть, тут самое время сказать за это же благодарное слово и “Братине” Юрия Чиркова, в далеком от Кавказа Питере поющей настоящие — боевые и грозные — “линейные” песни: спасибо, Юра, и тебе, и славным твоим коллегам-певцам!

...Вернемся, однако, к неоконченной моей работе под условным названием “Подвиг Заволокина”, вернемся к “простодушному народу”, в роли которого мы все, бывает, оказываемся...

Там, братцы, если не позабыли, идёт речь о том, что все эти въезжающие на чужом горбу в рай “звёзды” хоть относительно достойно бы украденным пользовались... А то ведь разухабистыми голосами и малоприличными движениями так опошлят и песню, и танец, что поневоле подумаешь: может, потому-то их без конца и

показывают, потому-то и деньги большие платят, чтобы марали образы предков и умного да тонкого слушателя и зрителя от казаков отвращали?

Вы-то, может, не помните один из ваших концертов, за который мне пришлось особенно попереживать: в редакции старой, ещё не разделившейся тогда “Роман-газеты”, где было и попросторней нынешнего, и народу было побольше.

Пели вы здорово, были, что называется, в ударе, но вот уже за щедрым столом кто-то из редакторш попросил: а не мог бы каждый из ансамбля несколько слов сказать о себе, о том, почему поёт казачьи песни и что они для вас для всех нынче значат?

Как я болел за вас!

Не помню уж, кто за кем и даже кто о чем тогда говорил: были там ещё и “оба Фудька”, Володя и Юра, Дима Омельченко и Саша Переслегин, который только собирался в Новосибирск, и коллега “роман-газетовцев” Шантаренков, работавший тогда в журнале “Самодеятельность”, и “слесарь” Слава Казаков, и “архитектор” Дима Власов с Володей Екимовым, и оба наши “кандидаты наук” — Володя Иванов и Коля Козлов. Был и единственный к тому времени “профессиональный артист” Коля Трифилов из тетра Станиславского, и музыковед Валера Порвин, который общим делом занимался уже в российском “Фольклорном Центре”, и типографский рабочий Коля Сахаров и ещё — “Скуня”...

Многое — это сколько годков прошло! — позабыл, но до сих пор помню то радостное, счастливое чувство — одно и то же после коротенькой речи каждого: а ведь какой умница, Господи! И — какой характер. Все на особицу, и каждый — какая цельная личность! Все — мыслители. Философы без всякой книжной зауми — ну, как радостно!

Истово, как и вы, исповедующий не только негромкое, вообще, бывает, безвестное — недаром же зовется “анонимным” — народное начало, как я был тогда за каждого в отдельности, за каждого из вас поименно горд!

Вдалеке от вас “выбирая” теперь из своих текстов те, к стыду своему, немногие слова, которые успел о вас написать, с благодарной и чуть ироничной усмешкой думаю: это-то ладно! Хорошо, что они не предложили мне “выбрать” те свои интонации, которые, я это точно знаю, вплелись в мои строчки, те тона и полутона, голоса с подголосками, которые приподнимали, раскачивали душу и двигали, когда работа спорилась, рукою с пером... Ведь в прозе моей, в повестях и рассказах, столько, ребята, Вашего!

В ноябре прошлого года, когда только “распевались” перед репетицией в очередной вторник, стояли, и действительно, нешироким кружком — и Шантаренков, и Порвин, и Казаков, и Чепурнов Саша с Юрой Любченко, и уже преуспевший в своем деле, но только-только начавший в “Казачьем круге” совсем молодой художник Родион Кузнецов, — стоял среди вас и я... Ещё не пели: долго и растяжно сплетали голоса в унисон, в одно объединившее всех слитное звучание, из-за скрытой в нем мощи казавшееся чуть ли не грозным...

Подошли Миша Корзин, Костя Шмырёв. Тоже подстроились, и звуковой поток прибавил нарастающей силы.

Мне-то медведь ещё в самом нежном возрасте на ухо наступил — стоял молча, слушал открытым сердцем...

И оно наполнялось, чувствовал, и той безоглядной, почти безграничной свободой, которой нет ничего дороже, и — неволей, которая в непрестом казачьем служении тоже всегда считалась величием...

Как потом всё это из себя “выбрать”?!

Это вам всем, дорогие мои, спасибо, что вы меня, верного вашего почитателя, своим, выходит, товарищем двадцать лет назад “выбрали”!

И — да живёт “Казачий Круг”!

И — да живёт и здравствует поддерживающая в нас несгибаемый дух наших предков старинная казачья песня!